

А. И.
ЭРТЕЛЬ

Сочинения



Александр Иванович Эртель

Волхонская барышня

К созданию повести «Волхонская барышня» А. И. Эртель приступил после окончания книги «Записки степняка», принесшей ему широкую известность и привлечшей внимание критики. Воодушевленный успехом своей первой книги, Эртель, по его признанию, всего за три недели написал «Волхонскую барышню», работая над повестью с необычным творческим подъемом.

Ни старый владелец Волхонки, ни Мишель Облепщев не камер-юнкеры, но каждый из них, на свой лад, «пропитан культурой». «Романтиком-революционером» предстает в глазах Вареньки Волхонской Илья Тутолмин. Девушка из дворянской семьи — главная героиня повести.

Содержание

I	.0005
II	.0017
III	.0031
IV	.0042
V	.0059
VI	.0069
VII	.0088
VIII	.0108
IX	.0130
X	.0143
XI	.0157
XII	.0183
XIII	.0212
XIV	.0231
XV	.0247
XVI	.0258
XVII	.0270
XVIII	.0298
XIX	.0313
XX	.0324

Александр Иванович Эртель Волхонская барышня

*Кто виноват — у судьбы не допросишь-
ся,
Да и не все ли равно?..*
Н.Некрасов.

... — Говори ты, пожалуйста, повнятнее... повразумительней говори!
— Да я ведь и то... Ты слухай:

*Уж я рада бы коня переняла, —
это она, то ись, ему говорит —
Повиликой у коня ноги спутан-
ные...*

— Что за повилика такая?

— Это вроде как трава такая есть: повитель.

— Ну, ну...

— «Повиликой у коня ноги спутанные»,

*Студеной росой возмоченные...
Возмочили горючи слезы,
Обуяла, что печаль-тоска,
Со всего ли света вольного...*

— Что, что? Прошу я тебя, повнятнее.

— «Возмочили горючи слезы»...

— Да что за бессмыслица такая! Ведь речь о коне идет?

— Так.

— У коня и ноги спутаны, и росой возмоче-

ны... Дальше: при чем тут «горючи слезы»? При чем?

— Из песни слева не выкинешь.

— Нет, ты мне скажи, при чем тут тоска-то эта у вас, а? Ах, ироды, ироды — присочинили!

Такой разговор происходил в поле, близ деревни Волхонки, Воронежской губернии. Вопросы задавал человек в оленьей дохе, забрызганный грязью, желтый, худой, на вид лет тридцати пяти, с русой бородкой и тихим взглядом голубых несколько мутноватых глаз. Он сидел в обыкновенной ямской тележке и записывал что-то в большую памятную книжку, развернутую на коленях. Ответы давал малый средних лет, бойкий, с лицом полным и ясным и с постоянной усмешкой плутоватого свойства. Он небрежно правил парой серых коней, изредка постегивая их кнутиком.

Был апрель в начале, и дорога, по которой ехали путники, была убийственна. Оттого-то они и ехали шагом. В глубоких колеях то и дело плескалась вода, и рыхлая грязь смачно шлепалась под копытами лошадей. Иногда в

колеях попадались рытвины. Тогда тележка быстро наклонялась в одну сторону и с тяжелым треском вскакивала, подкидывая путешественников; и ямщик произносил крепкое словцо, а барин неприязненно щурил физиономию. С широких полей несло свежестью. По лощинам там и сям белелся снег, окаймленный темноватой полоской льда. Но небо было ясно, и жаворонки радостно трепетали в теплой синеве.

— Ну, ладно, — сказал барин, — записал! Четвертак за мной. Теперь скажи ты мне, какие у вас модные есть, новейшие, собственно-го изделия? — спросил он, насмешливо искривляя губы, и перевернул страничку в записной книжке.

— Да какие есть... — в недоумении ответил ямщик и слегка стегнул пристяжную, выразившую желание укусить смиренного коренника. — Есть разные песни... — он усмехнулся. — Пиши эту:

*За рекою кобель бреша,
А мой милка кудри чеша
За рекою кобель воя,
А мой милка кудри моя..*

*Проводила б за реку
Не пришел б он до веку
Давай, милка, пострадаем.*

— Фу-ты, гадость какая! — произнес барин, брезгливо выпячивая нижнюю губу, однако же стал записывать песню. А то вот, еще насчет ополченцев есть песня, — ска зал ямщик, приходя все в более и более веселое настроение. Барин снова перевернул страничку и приготовился записывать.

— Ну, ополченцы... — вымолвил он в ожидании. Ямщик откашлянулся и начал:

*Ох, мамаша, ополченцы!
Ох, мамаша, запри сенцы!
Они — ребята молодые,
На них кольца золотые...
Через эти полсапожки
Перебили все окошки...*

— Стой, стой! С какого дьявола взялись тут полсапожки...

— А уж это из песни, барин...

— Ну, ладно, ладно, — сердито закричал барин и сквозь зубы произнес: — Сочинители!

Ямщик ухмыльнулся и продолжал:

*Перебили все окошки...
Ох, угнали на минуту —
Остаюсь без приюта.
Продам юбку и корсетку,
Куплю милому жилетку.
Продам юбку с полосами.
Куплю дудку с голосами...
Ох, в избе мне не сидится
Пущай милка веселится...*

а уж это, к примеру, он ей говорит:

*Продам сяртук, продам брюки.
Куплю милке платок в руки...*

а она ему, шельма, в ответ:

*Продам ленту из косы.
Куплю милке я часы..*

а он ей замест того:

*Ох, колечко рупь пятнадцать.
Моей милке лет семнадцать.*

Вдруг пристяжная споткнулась и залепила седоков грязью. Ямщику попало в нос, барину в губы, а на записной книжке оказалось толстое и жирное пятно. Барин нетерпеливо стер это пятно рукавом шубы и перевернул свежую страницу. Но ямщик рассердился. Он на-

тянул вожжи и вскрикнув: «Ах вы, окаянные!» — принялся нажаривать лошадей кнутом. Тележка заскрипела, колеса заныряли по рытвинам, мелкие брызги грязной воды и тяжелые комья густой грязи запрыгали и затолклись вокруг тележки, и барин спрятал книжку. Но, немного посидев, он как будто вспомнил что-то: прикоснувшись длинными и худыми своими пальцами к широкой спине ямщика, он закричал: «Так межничков, говоришь, не бывает у вас?» Но ямщик только головой тряхнул на это, как будто отмахнулся от назойливого комара, и вlepил коренному хороший удар пониже седёлки. Тогда барин ухватился руками за края тележки и, удерживая равновесие, стал смотреть по сторонам.

Однообразная даль, резкой и скучной чертою замыкавшая пустынную равнину, раздвинулась и закурилась синим туманом. Местность избородилась холмистыми очертаниями. Там и сям покраснели кусты. За кустами засквозила речка холодным голубым блеском. Впереди ясно и жарко загорелся крест, до половины заслоненный возвышенностью.

— Волхонка! — произнес ямщик и решительно опустил вожжи. Лошади пошли шагом.

— Волхонка? — с любопытством спросил барин. — Где Волхонка?

— А вон видишь, церковь-то? Там и есть Волхонка! Вот на горку въедем, как на ладони будет. — И, внезапно оборотившись, спросил: — Да ты разве впервой к нам?

— В первый.

— Тэ-эк-с. Вы к кому же, например, к барину, али как?

— К управляющему в гости еду.

— Это к Захар Иванычу! — с оживлением произнес ямщик и, вдруг переполнив тон свой явным недоумением, добавил: Чуден он!

— Чем же чуден?

Но ямщик только покачал головою и усмехнулся.

— А как тебя звать? — спросил барин. — Ты ходи ко мне. Я тебе буду рад. Я все лето здесь проживу. И песни ежели есть какие — я по гривеннику за песню буду давать.

— Что ж, это мы можем, — сказал ямщик, — мы вашей милости послужим. Моке-

ем меня зовут.

— Мокеем? Ну ладно. А меня Ильей Петровым кличут. Ты ходи ко мне, Мокей. И ежели передел у вас по весне будет — ты мне скажи: я ваши порядки охоч посмотреть. — Илья Петрович сделал ударение на слове «охоч».

— Так чем же чуден-то Захар Иваныч? Грабит, что ль, он вас? — спросил он после некоторого молчания.

— Зачем грабить! Насчет грабежа у нас не полагается. А вот насчет машин больно уж он чуден. Машины всякие заводит. Вот ноне по осени каких одров приволок: вроде как черти какие!.. Сами, на своих колесах припёрли...

— Какие же такие?

— А шут их... Самовар не самовар, орет — как леший... Пашут, говорят. Только выстроил он им сарайчик, Захар-то Иваныч, они и стоят в сарайчике. Здоровенные одры!

Илья Петрович насмешливо улыбнулся и произнес сквозь зубы:

— Эх, буржуй, буржуй!

Ямщик помолчал, помолчал и вдруг прыснул.

— А то вот сеялки еще завел, — сказал

он, — ты сидишь на ней, а под тобой сыпется... Чудеса!

— Что ж, это ведь не плохо.

— С чего плохо!.. Разве мы говорим... Деньги-то не наши, барские.

— Кто же у него работает на этих машинах?

— Находятся такие, — с пренебрежением вымолвил ямщик, — промотается ежели какой, добьется — жрать ему нечего, ну и прет к Захар Иванычу. Хороший не пойдет.

— Отчего же не пойдет хороший, — разве кормят плохо?

— Куда тебе плохо. Кажинный день убоину лопают, идола! Да еще что: я как-то в пятницу зашел в застольную, а они молочище трескают! Ах, пусто бы вам!.. Ну, и хватеры у них — ничего себе, чистые хватеры: иная вроде как горница, например.

По мере Мокеева рассказа лицо Ильи Петровича все более и более просветлялось и насмешливая улыбка уступала место совершеннейшей радости.

— Так не идут к нему домохозяйные мужики! — воскликнул он с видом торжества.

— Кому охота в батраки запрягаться, — сказал ямщик. — Помесячно мы еще наймаемся: деньги занадобятся, и наймешься иной раз, а чтоб в батраки — нет, не наймаемся. Положенья у нас такого нет, чтоб в батраки удаляться.

— Так, так, — одобрительно произнес Илья Петрович, — молодцы! Так и храните свои старые порядки... Крестьянский ваш строй не в пример лучше батрацкого... Только вот песни у вас подлые, — добавил он с грустью.

Мокей подумал, хотел что-то ответить, но почесал концом кнутовища спину и ничего не ответил. А между тем тележка втащилась на возвышенность. «Эге!» — сказал Илья Петрович и больше ничего не сказал, а заслонился ладонью от солнца и не отрываясь стал смотреть вдаль.

Волхонка действительно была видна отсюда как на ладони. Каменные флигеля надворных построек, высокая английская мельница, длинные конюшни и сараи — все это привольно раскинулось в долине и весело блистало красными и зелеными своими кровлями. Около усадьбы синело озеро и толпился

громадный сад, переполненный хлопотливым грачиным шумом. В саду возвышался барский дом, неуклюжий как черепаха.

Ниже, — озеро замыкалось длиннейшей плотиной и двухъярусная мельница сквозила через голые ветлы, наполняя окрестность внушительным грохотом. За мельницей раскинулось село, с улицей черной как траурная лента и, вероятно, очень вязкой, потому что лошаденка с бочкой стояла среди нее в безнадежной неподвижности. В конце села белелась большая одноглавая церковь, протянувшая сквозную ограду свою к самому озеру. А за озером вставали холмы однообразными очертаниями, тянулись бурые поля, изнизанные лужами, сверкающими на солнце, краснели таловые кусты, круглые как шапки и насквозь пронизанные какою-то крепкой свежестью, а там, за кустами, синела и уходила без конца загадочная даль.

И чем больше смотрел на окрестность Илья Петрович, тем жутче и тревожней замирало его сердце. Все его существо напряглось широкими ожиданиями. Какое-то восторженное чувство непрерывными и дружными вол-

нами подмывало его, перехватывало ему дыхание... Синяя даль дразнила загадочным своим трепетаньем. Песни жаворонков, тонким серебром стоявшие в высоте, и веселый птичий гам в долине, казалось, в нем самом будили какие-то звуки, добрые и крепкие, и наполняли всю его душу трезвой и ненасытной жаждой жизни.

— Пошел, Мокей! — закричал он, вздыхая полной грудью.

Мокей поправил свою шапчонку, плюнул в руки, дернул вожжами, крикнул, и пара понеслась во все ноги к деревянному флигельку, приютившемуся около барского дома.

— Тут и есть Захар Иваныч, — вымолвил ямщик, останавливая лошадей около крыльца. Илья Петрович вылез из тележки и, путаясь в своей дохе, поднялся на ступеньки. Дородная баба в ситцевом сарафане столкнулась с ним в дверях.

— Вам кого? — спросила она.

— Захара Иваныча.

— В поле он. Вы по какой части — купец, ай как?

— Ни по какой, — усмехаясь, ответил Илья Петрович. — я член географического общества.

Баба в недоумевающем испуге поглядела на него.

— Бери поклажу-то, шалава! — закричал Мокей. — Видишь, к хозяину гость приехал. Ошалела, шалава!

Баба рванулась и побежала к тележке. А навстречу Илье Петровичу выскочил еще зашпанный мальчик в нанковой поддевке и, уж без всяких расспросов, распахнул перед ним двери в комнаты. Сконфуженная баба суетли-

во выбирала из тележки вещи. Мокей подшучивал над ней: «Эх ты, макрида! К хозяину гость приехал, а она — „по какой части“! Погоди, он тебе еще покажет часть-то эту...» — «Видали!» — возражала баба. «Увидишь!» — подсмеивался ямщик и тут же спросил в скобках: «Солдатка, что ль?» — на что, однако, не получил ответа. Наконец баба захватила в одну руку подушку с узлом, а в другую небольшой парусинный саквояжик и спросила:

— Откуда ты его приволок?

— С полустанка, — ответил Мокей и добавил: — Говорит, все лето проживу.

Баба покачала головой и в задумчивости понесла поклажу.

Немного спустя мальчик вынес Мокею деньги и остановился около него в ожидании. «Все, что ль?» — спросил он, ковыряя в носу. Мокей помусолил зелененькую бумажку, пересчитал два раза серебряную мелочь, подумал и, вдруг рассмеявшись, вынул из пазухи кошель. «Полтинник за песни прожертвовал!..» — сказал он, старательно упряывая деньги; а так как тут снова вышла баба в сарафане, то он снова не преминул подшутить

над ней: «Погоди, узнаешь, по какой части!» — произнес он, ухмыляясь во всю бороду, и, пересев в задок тележки, направился в деревню. А баба долго стояла и смотрела ему вслед и думала о его ядовитых намеках. И вдруг с удовольствием улыбнулась и стала думать о госте. «Эка у него руки-то какие: белые-пребелые!» — вспомнила она и опять улыбнулась.

Илья Петрович умылся с помощью заспанного мальчика и, облачившись в куцее пальто, вышел на крыльцо. С крыльца вся усадьба была видна до мелочей. Было видно, как около конюшни гоняли на корде вороного жеребца и кучер мыл шарабан, ослепительно сверкавший на солнце лакированным своим щитом; как к одному из флигелей с тяжелым скрипением тащилась бочка; как к заднему крыльцу барского дома пробежал белоснежный повар, сжимая под мышкой медный противень... А в саду невыносимо кричали грачи и слышался непрерывный треск ломавшихся ветвей... Вдали гремела мельница.

И задумался Илья Петрович. Он вспомнил такую же весну и такой же гам грачиный и

безоблачное небо, ласково распростертое над убогим уездным городком, затерянным в лесной глуши... И вдруг какая-то тоскливая полоса пробежала по нем смутным и неприятным веянием. Сердце как будто защемило. Так в ясный день неожиданная тучка внезапно заслоняет солнце и бросает сумрачную тень на золотое поле. Илья Петрович встал и тихо провел рукою по лицу. «Пойду-ка я в сад!» — для чего-то громко подумал он и спешно зашагал по направлению к саду.

Волхонский сад затеян был на широкую руку. Куртины яблонь часто перемежались в нем аллеями и рощами. По одной такой аллее Илья Петрович пошел к реке. Следы его ног четко обозначались на влажной земле. Отовсюду доносился к нему раздражающий запах прелых листьев, земли и какой-то крепкой и холодной свежести. Дыхание его стеснялось этой свежестью и сердце билось в радостном и торопливом беспокойстве... А деревья стояли вокруг него и молчали в стыдливой истоме. Все в них как будто напряглось кротким и терпеливым ожиданием; и все говорило об этом ожидании: красноватые ветви

березы, липа, свежая и влажная, нежные почки гибкой вербы... Разве что редкие дубы да сосны с их угрюмой зеленью пребывали равнодушны и с высокомерной величавостью взирали на мелкий люд, изнывавший в ожидании жизни.

Но река убежала от Ильи Петровича, и аллея коварными зигзагами уходила в сторону. Тогда он оглянулся. Голубой блеск воды там и сям сквозил чрез ольховую рощу. Он перешел поляну, усеянную молодыми яблонями, и попирая поблекшую траву, с легким шорохом приникавшую под его ногами, вступил в рощу. Птичий гам оглушил его. Он остановился среди купы громадных деревьев, унизанных грачиными гнездами, и прислушался. Непрестанный треск ветвей, тяжелый трепет крыльев, звонкое карканье на все тоны, начиная от пронзительного дисканта и кончая басом, хрипящим точно с перепоя, — вся эта бестолковая и поспешная суетня как-то назойливо и весело раздражала его нервы. Он чувствовал, что в нем закипают какие-то порывы и неудержимо встает потребность движения. И он пошел по роще, весь охваченный этими

порывами и счастливый, как ребенок. В вышине с тонким и жадным писком кружился копчик. Под ногами ломались крепкие сучки, оброненные грачами, и мягко шелестели влажные листья. Голубой блеск реки сквозил чаще и беспрестанно ширился.

Вдруг силуэт оседланной лошади ясно и резко обозначился сквозь деревья. «Вот чёрт!..» — невольно воскликнул Илья Петрович и вышел из рощи. А на его восклицание раздалось легкое: «Ах!» Тогда Илья Петрович в смущении оглянулся. Перед ним узкой и желтоватой полосой тянулся берег, дальше синело озеро, усеянное островами и бурыми купами камыша, а на берегу стояла барыня в синей суконной амазонке. Илья Петрович хотел было снова возвратиться в рощу и даже сделал уже шаг назад, но было поздно: барыня его заметила и двинулась к нему навстречу. Тогда и Илья Петрович быстро посмотрел на нее. Барыня скорей была девушка: любая маменька семерых дочерей-невест не дала бы ей более девятнадцати лет. И лицо этой девушки, бледное и надменное, понравилось Илье Петровичу. Но, впрочем, он опу-

стил глаза, когда она скользнула по нем пристальным и блестящим взглядом. Он заметил только, что она с рассеянностью усмехнулась.

— Не можете ли вы помочь мне сесть на лошадь? — сказала она.

Он неуклюже наклонил голову в знак согласия и подошел к ней. Она погладила лошадь — великолепную караковую кобылу с звездой на лбу, подозрительно шевельнувшую ушами при приближении Ильи Петровича, и ловким движением вскочила на седло. Илья Петрович почти не почувствовал тяжести на той руке, которой предупредительно поддержал барышню; он только почувствовал необычайно приятное ощущение теплоты, внезапно охватившей его тихими и мягкими волнами, да еще то, что лицо его нестерпимо запылало.

— Ну, теперь давайте знакомиться, — шаловливо произнесла барышня, подтягивая поводя и оправляя на лошади спутавшуюся гриву. — Вы ведь, конечно, приезжий? И, конечно, интеллигент? А я здешняя... и совсем первобытная. Я — Варвара Алексеевна Волхонская.

Илье Петровичу почему-то ужасно понравился комический характер представления. Он мгновенно, же перестал краснеть и приподнял смешную свою шапочку петербургского фасона.

— Член географического общества и к тому же сочинитель-с — Илья Петрович Тутолмин! — отчеканил он.

— Ах, господин Тутолмин! — воскликнула барышня и сконфузилась. — Вас еще ждал Захар Иванович... Простите, пожалуйста!..

— В чем же-с?

— Да как же!.. Ах я какая!.. Ведь вы сочинитель — ведь с вами как надо: *tiré à quatre épingles*...[1] — и насмешливая струнка снова зазвенела в ее тоне.

Тутолмин поклонился.

А лицо барышни являло вид явного возбуждения. Матовая бледность сменилась в нем каким-то теплым и привлекательным румянцем, который Илья Петрович мог бы принять за легкий загар, если бы дело происходило в июле.

— Ах, вам непременно будет скучно в Волхонке!.. — защебетала барышня. — Эта Вол-

хонка такая несчастная... Вы знаете — здесь ни общества, ни развлечений... И притом, вообще-то провинция мила! Куда ни посмотрите: дичь какая-то, рутина!.. Но вы, конечно, часто будете бывать у нас? Я буду очень, очень рада. И папа будет рад. И вы, пожалуйста, без церемонии!

«Эге!» — подумал Илья Петрович, но сказать ничего не сказал, а только обидно поглядел на барышню. И та как будто поняла этот взгляд. Она надменно искривила губки, сухо кивнула Тутолмину головкой своей, увенчанной красивой широкополой шляпой, и тихо тронула лошадь... Но ее глубокие глаза не потеряли своей живости и с лица не сходило возбуждение.

А Тутолмин после ее отъезда выругался и стал упорно смотреть вдаль. Но в душу его уже не сходили поэтические впечатления, и только какое-то сухое и скучное недовольство обнимало ее. «И за каким дьяволом наболтала чепухи! — с досадою думал он. — „Рутина“!.. Сами-то вы каковы — поглядеть на вас... Просветители! Либералы!» — и тут же, неприязненно крякнув, возвратился в усадьбу.

Там его дожидался Захар Иваныч. Разрезая последний номер «Земледельческой газеты», он сидел за стаканом остывшего чая и от времени до времени поглядывал на дверь. Он с нетерпением ждал Тутолмина. А странное дело, — между ними почти не было так называемых точек соприкосновения. Один был чистокровный агроном и без засоса не вспоминал о своем путешествии в Бельгию. Другой — не то что не любил — презирал агрономию, а с нею, нечего греха таить, и всевозможные Бельгии на свете... Один благоговел перед Марксом с его законами «Гегелевой триады», другой — не выносил его за известную насмешечку над миссией русской общины и, когда дело касалось будущего России, яростно доказывал несостоятельность его законов. Но, главное-то, вот какая была между ними разница. Тутолмин был по преимуществу человек «принципиальный», некоторые находили: даже до излишества. За густой сетью «принципов» жизнь в большинстве проходила перед ним рядом смутных и тенденциозных картин и непрерывно терзала его нервы, разливала в нем желчь... Захар Ива-

ныч выше всего ставил практику и обыкновенное житейское дело; и в это дело уходил по самые уши. Оно его увлекало помимо своих принципов, — иногда одной формой, одними подробностями своими увлекало. Правда, в агрономию он ударился из-за принципа. Но чуть только пробштейнская рожь да суперфосфатное удобрение открыли перед ним свои таинства — он впился в них, как клещ (простите за вульгарное сравнение!), и всевозможные принципы отступили у него на задний двор. Редко, редко, в споре с каким-нибудь приятелем-«народником», он с обычной своей ужимкой проворного и мягкого медвежонка вытаскивал эти «принципы» на свет божий и утомлял свою память настойчивым повторением «непогрешимых» аргументов «Капитала».

И, понятно, Илье Петровичу, более чем кому-либо, доводилось расшевеливать ленивые Захар-Иванычевы мозги и заставлять его обметать пыль с богов, бездейственно занимавших позицию. Илье Петровичу доводилось даже вводить во гнев Захара Иваныча, а это было делом почти беспримерным. И, однако

же, они любили друг друга.

Впрочем, не слишком ли я отступил от рассказа и не заставил ли приятелей провести время в неловком ожидании летописца? *Поспешим.*

— Что, буржуй, донкихотствуешь все! — ехидно замечал Тутолмин, дружески хлопая Захара Иваныча по колену.

Но Захар Иваныч глотал чай и добродушно улыбался. Человечек он был толстенький и наружностью нисколько не походил на злополучного рыцаря из Ламанчи.

— Слыхали! — не унимался Илья Петрович. — Мужички за блаженного считают... Добился!

— Ну, уж и за блаженного.

— А ты как думал? Ты думал «поклонимся и припадем» запоют? Нет, врешь. Ты вот «убоиной» их смущаешь, а они жрут себе мякину да в ус не дуют. Попрыгай-ка с ними!..

Но Захару Иванычу решительно не хотелось спорить. Ему так приятно было сидеть в своем креслице, обтянутом скромной холстинкой, и смаковать душистый сладкий чай, и смотреть на нервное и худое лицо милого

человека...

— Ну вот еще... Образумятся, — мягко возразил он.

Но такое уклончивое отношение Захара Иваныча к «принципам» как будто раздражало Илью Петровича. Он вдруг выпил залпом свой стакан и произнес с видом плохо скрываемого торжества:

— Да уж песенка ваша спета, Буржуй Буржуевич!.. Журнальцы читаете-с? Али не употребляете окромя сих знаков? — Он ткнул пальцем в развернутый лист «Земледельческой газеты». — А коли употребляете — нечего вам и упорство свое оказывать: продавайте вы на слом свои машинки и ступайте мужиковым ребятишкам сопли утирать!

— Это почему же? — в некоторой обиде спросил Захар Иваныч.

— А, значит, не употребляете! Так и знал... А напрасно-с. Хорошие там есть статейки за последнее время. — И вдруг со смехом воскликнул: — Друг! Ведь Марксу-то твоему карачун во всех статьях!..

Но только что Захар Иваныч, внезапно вошедший в задор, хотел ополчиться на эту

ересь, как в дверях появился гладко обритый и суровый человек в кашемировом сюртуке и важно доложил:

— Алексей Борисыч изволят просить вас с гостем чаю откусать.

— Что это ты, Варя, какая странная? — заметил Алексей Борисович Волхонский, когда Варвара Алексеевна, возвратившись с прогулки, вышла к нему в кабинет. И действительно, она могла показаться странной. Возбуждение не покинуло ее. Вся она была еще полна впечатлением недавней встречи. Она еще не забыла ни обидного взгляда, брошенного, на нее Тутолминым, ни то, что он назвался «сочинителем». Ей казалось, что в ее жизнь, серую и однообразную, дерзкой и дразнящей полосой ворвался светлый луч. А между тем она не помнила лица Ильи Петровича и не могла бы сказать, какого цвета его волосы. Она помнила только, что этот человек внес с собой какое-то чувство свежести и новизны и обыкновенную пятницу превратил для нее в интересный праздник.

— Ах, папа, как ты мил сегодня! — воскликнула она в ответ на замечание Алексея Борисовича и шаловливо спутала его косматую шевелюру. — Ты опять со своими противными гравюрами?

Алексей Борисович тихо отстранил ее.

— Вот ты и институт миновала, а приобрела это институтское словечко: «противный», — с мягкой насмешливостью сказал он.

— А ты забываешь, что у нас «дамы» были из института! — возразила дочь и добавила: — Опять от Гупиля?

Алексей Борисович оживился.

— И на этот раз премилые. Ты посмотри-ка вот, с картины Мейссонье... Или Коро... Посмотри, какая прелесть! Как хороши эти вязы!.. Или эта, — это Руже-де-Лиль; не знаешь? Ах, я и забыл, что в гимназии этого не полагается. — Он снова улыбнулся насмешливо. — Это автор марсельезы, m-ile а Марсельеза!..

— Да знаю, знаю, уж замолчи, — с неудовольствием перебила Варя и затем, отстранив осторожным движением руки гравюры, села на ручку кресла. — Ты знаешь, — сказала она с видом кокетливого испуга, — к Захару Ивановичу гость приехал, и, представь себе, сочинитель!

— Ну? — вопросительно произнес отец.

— Как «ну»... Надо пригласить его.

— Приглашай.

— Ах, какой ты, папа...

Алексей Борисович снова усмехнулся.

— Так не прикажешь ли ты благоговеть мне пред твоим сочинителем, — вымолвил он. — Да я и не помню такого... Как бишь его?

— Тутолмин, папа, Илья Петрович Тутолмин.

— Не помню. Ивана Сергеевича Тургенева помню, и Аполлона Николаевича Майкова помню, а такого не помню.

Варя медленно отшатнулась от отца.

— Злой ты, папа, — сказала она с упреком, — к чему это? Ведь это же молодой писатель.

— Ну, хорошо, хорошо, — поспешно произнес Алексей Борисович и поцеловал руку Вари, — Конечно, не то, — то было время, теперь другое... Прости. Это, вероятно, новые птицы. Зови, зови их.

Варя пожалала плечами и вышла из кабинета. «Какой странный этот папа», — подумала она, но тотчас же вспомнила сцену за рощей и улыбнулась. И вдруг почему-то ей стало очень весело. Она быстро вбежала наверх, в свою комнату, и, напевая, подошла к окну. От-

туда был виден сад и чернелась ольховая роща.

Вслед за Варей вошла степенная женщина в белоснежном переднике и с выражением строгого достоинства в красивом, хотя и пожилом лице. «Изволите переодеваться?» — спросила она. «Надя, нельзя ли нам, голубушка, раму выставить! Ведь это так легко...» — сказала Варя и ласково заглянула в лицо Надежды. Та несколько подумала, но спустя немного принесла клещи и поварской нож и, по-прежнему сохраняя вид непоколебимой сановитости, очень ловко вынула и унесла зимнюю раму. Тогда Варя распахнула окно. Шумный птичий гам вместе со свежей и пахучей струей воздуха стремительно ворвался в комнату... Варя отшатнулась с легким криком, но затем тотчас же жадно вздохнула и приникла к окну. Какая-то радостная тревога охватила ее. Сердце билось порывисто и сладко... Вся она как будто застыла и замерла в чуткой неподвижности. Она ни о чем не думала, она только отдавалась наплыву каких-то грез, легких и таинственных как видения, да слушала, да смотрела, смотрела неот-

ступно...

А смотреть было на что. Солнце садилось, и за голыми деревьями сада жарко догорала заря. Иногда над этими деревьями взлетали грачи, и кружились небольшими стадами, и черными пятнами пестрили небо. Широкое озеро важно покоилось среди островов и неподвижных камышей, ясно отражая в своей пламенеющей поверхности и эти острова, и купы камыша, залитого розовым светом зари, и холмистые очертания того берега. В высоком небе красиво рдели золотые полосы. Дали раздвинулись, и необозримая линия западного горизонта незаметно утопала в горячем блеске заката. В прозрачном воздухе, чутком и неподвижном, неустанно раздавались звуки. Нестройное карканье грачей и запоздалый писк копчика, ретивое ржание лошади и непрерывный грохот снастей на водяной мельнице — все сливалось в одном бодром и хлопотливом концерте.

— Скоро ли, барышня, одеваться будете? — в некотором нетерпении спросила Надежда, и Варя очнулась. Украдкой провела она ладонью по глазам (они были влажны и туман-

ны), медленно и глубоко вздохнула, как бы упиваясь острым и прохладным воздухом, и в тихой задумчивости затворила окно.

Но чрез несколько минут она снова вспомнила встречу свою с Тутолминым. Какое-то беспокойное нетерпение загорелось в ней. И почему-то обидный его взгляд опять ей припомнился. «Погоди же!» — громко сказала она и долго обдумывала, какое надеть ей платье: синее ли из тяжелой французской вигони или серое, которое отец недавно выписал ей от monsieur Ворта. А остановившись на синем, она долго примеряла рюш и долго смотрела в трюмо, хорошо ли оттеняет этот рюш изящную бледность ее лица. И, вероятно, результаты примеривания в конце концов понравились ей: губки ее сложились в гордую и самодовольную улыбку и в темных глазах промелькнул радостный блеск.

Тогда она снова подошла к окну, за которым медленно погасала заря. Но теперь она уже не распахнула окна, — она вспомнила, что можно простудиться и схватить бронхит, — но достала из своего столика тетрадку и при слабом мерцании зари стала переписыв-

вать в нее стихи из толстой книги, переплетенной в бархат. А когда переписала — прочитала их с довольным видом и снова спрятала тетрадку. И опять долго стояла у окна и мечтательно смотрела на окрестность.

Алексей Борисович по уходе Вари не прикоснулся к гравюрам. Он встал и в задумчивости начал ходить по комнате. В широкие окна кабинета тоже смотрелась заря. Тихим и ровным румянцем заполняла она стены, увешанные гравюрами, и бойкими пятнами светилась на бронзовых лапах грифов, поддерживавших тяжелые портьеры. Смеркалось. Углы кабинета раздвигались и отступали в темноту. Силуэт амура на каминных часах работы Шопена сделался мрачным и явственно отделился от зеркала. А Алексей Борисович все ходил и задумчиво поглаживал пышную свою бороду, насквозь пронизанную серебристой сединою. Смутная тень однообразно следовала за ним, достигая головой лепного потолка и медлительно колеблясь. Наконец Алексей Борисович остановился и посмотрел на потухающий запад. «Сочинители!» — с печальной укоризною произнес он, и горькие

воспоминания в нем шевельнулись... Он вспомнил, как в конце пятидесятых годов весьма приличный молодой человек в сюртуке от Шармера и с ленточкой иностранного ордена в петлице бродил из одной редакции в другую с шикарным портфелем под мышкой. И в каждой редакции из портфеля выгружалась объемистая рукопись, и каждые три месяца рукопись эта с холодной улыбкою возвращалась весьма приличному молодому человеку и снова погружалась в шикарную портфельку. О, сколько тайных мук вынес весьма приличный молодой человек и какая закипала в нем ненависть к людям с вечной улыбкой на устах и с вечным припевом: «Неудобно для печати!» Как бы охотно он наговорил дерзостей этим людям и с каким бы торжеством посмотрел на их лица, смущенные скверной неожиданностью. Но он был весьма приличный молодой человек и, получая обратно несчастную свою рукопись, только вздыхал и в недоумении пожимал плечами. Зато впоследствии, за границей, куда удалился он на время крестьянской реформы, с каким злорадством встретил он вести о

невзгодах, постигших журналы, отринувшие его труд, и с какою живостью представлял себе благополучные лица редакторов, обезображенные неутешной скорбью... Этот молодой человек был Алексей Борисович Волхонский.

«И все-то мне не удавалось!» — грустно подумал он, примечая, как сумрачные тени ложились на холмы того берега и в небе зажигались звезды. И снова вспомнил надоедливую вереницу скучных картин. Вспомнил, как беспутно прожил он выкупные свидетельства в этих беспутных венецианских лагунах... Вспомнил, как женился он и жестоко мучил простушку-жену своей артистической требовательностью. Вспомнил свои неудачи с рабочими, выписанными из Саксонии, и свои наивные подвиги в качестве сельского хозяина... И тут смиренный Захар Иваныч предстал пред ним. «Как это хорошо!» — прошептал Волхонский. Захар Иваныч явился в самую пикантную минуту: Алексею Борисовичу опротивело хозяйство, и приближался срок уплаты процентов в общество взаимного поземельного кредита. Захар Иваныч все сделал: непостижимой своей оборотливостью он

отстранил кризис и освободил Волхонского от несносных занятий... И теперь Алексей Борисович вступил в тихую и спокойную струю. Он удалился в великолепный свой кабинет, окружил себя кипсэками и журналами, приобрел творения Каррьера и Куглера, обременил заказами Гупиля в Париже и Дациаро в Петербурге и почил... Правда, вот уж скоро семь месяцев, как дочь окончила гимназию и непрерывным щебетаньем своим нарушает ленивый порядок дома. Но ему нравится это шаловливое и благородное существо. С его появлением дни как будто сделались короче и строгая кабинетная тишина прониклась какими-то ласковыми тонами. И притом это появление не принесло ему особых забот. Он, слава богу, не рутинер! Он понимает, что свобода (*liberté*,— перевел он внутренне) — первое условие порядка, и никогда не задумается он над тем, чтобы в щедрой дозе наградить Варю этой свободой. Он враг стеснений. Недаром в салонах его и теперь считают неисправимым фрондером... И он опять вспомнил свои неуспехи в прогрессивных кружках конца пятидесятых годов. «Отчего бы?» — подумал.

мал он в недоумении. И вдруг вспомнил о новом знакомстве дочери. «Сочинители! — с горечью повторил он и затем добавил с иронией: — Умеет ли грамоте!» Но после этого выпрямился и, как будто совершая какой-то долг, дернул сонетку.

— Пригласи, Степан Степаныч, Захар Иваныча чай кушать и скажи, что просят, мол, с гостем пожаловать, — приказал он гладко обритому и суровому человеку в кашемировом сюртуке, быстро и неслышно явившемуся на зов.

IV

Чай пили в маленькой столовой. При входе в эту столовую Илья Петрович не мог победить в себе некоторой неловкости и все запахивал левую полу своего сюртучка, приобретенного на Апраксиной. Ему все казалось, «галантные» хозяева заметят предательское пятно, изображенное на этой поле жирными щами палкинского трактира, съеденными в честь первого его очерка «из народного быта». Но он скоро оправился, и когда сел, даже позволил себе свободно протянуть ноги. Захар Иваныч держал себя домашним человеком: он и явился-то сюда в высоких полевых сапогах. Волхонский в своем бархатном пиджаке и белоснежных воротничках à la Delavag несколько модничал; густые кудри его седой головы были расчесаны с особенной тщательностью. Наливала чай все та же строгая Надежда. Варя сидела в глубоком кресле и медленно мочила в крошечной чашечке крошечный кусочек бисквита. При входе Ильи Петровича она незаметно скользнула по нему взглядом и, видимо, осталась недовольна: в

своим отвратительным сюртучке, с воротничком, отставшим от шеи на добрую четверть, со своими вечными поползновениями спрятать куда-то руки, окаймленные смятыми манжетами, он был куда как не презентабелен. А тут еще нелегкая догадала его, умываясь, смочить редкие волосенки свои и провести в них ряд!.. Нет, он совсем был неинтересен. Зато после третьего стакана он заметил Варю и нашел ее очень привлекательной. И, пожалуй, был прав. В матовом свете лампы лицо девушки выгодно выделялось тонкими и нежными своими чертами, и горделивая улыбка особенно шла к смелому и красивому очертанию ее губ. И когда Илье Петровичу налили четвертый стакан, он не утерпел, чтоб еще не взглянуть на девушку. И такой грациозной показалась она ему в своем темном платье, ниспадавшем по ней тяжелыми складками! Ему даже понравились руки ее, мягкие и белые как снег, и эти изящные пальчики, с осторожностью державшие кусочек бисквита...

Алексей Борисович обратился к нему с вопросом:

— Петербург, по своему обычаю, смешит Европу? — сказал он.

— То есть как это? — в недоумении произнес Тутолмин и моментально же забыл о барышне. — Я думаю, что в Петербурге только и хорошего есть, что это игнорирование Европы. Мы ее смешили, как крестьянам землю давали, мы и милютинскими мероприятиями ее смешили... Она всему смеется. Чего нам ее не смешить-то?

Волхонский поднял брови.

— Я имею честь говорить с славянофилом? — спросил он.

— Вот уж нет, — бесцеремонно ответил Илья Петрович и вдруг спохватился. — А впрочем, клички эти чудны, — вымолвил он, — другая так тебя запутает — ты точно мужик в вяхире...

— Что такое «вяхирь»? — прервала его Варя.

Отец затруднился ответом. Илья Петрович досадливо сморщил брови и сердито произнес:

— Сеть из бечевок. Мужики в дорогу сено берут... Что же вы величаете славянофиль-

ством? — обратился он к Волхонскому.

— А умиление перед сарафаном, восторги по поводу подблюдной песни и тому подобной ветоши...

Тутолмин порывисто поставил стакан и выпрямился.

— Да-с, — сказал он резко, — перед сарафаном не умиляемся, а самобытность ценим крепко. Песню чтим, ибо в ней поэзия и следы мирозерцания, не отравленного вашей, с позволения сказать, цивилизацией.

— Поэзия? — прищурившись, произнес Волхонский и с деланным смирением добавил: — А впрочем, я не знаю, о какой поэзии вы говорите. Ведь господин Писарев, кажется упразднил поэзию.

— Вы плохо следите за литературой. Писаревским увлечениям был предел. То уже старое время, — сказал Тутолмин.

— Не уследишь, — с тонкой улыбкой возразил старик. — Я стар, а новизна поспешна и суетлива. Но мне приятно узнать, что в глазах молодежи поэзия снова реставрируется (Илья Петрович приник к стакану). Но какая же поэзия в ваших песнях и вообще в так называе-

мом народном творчестве? (Экое громкое слово, подумаешь!) Извините меня, но не могу скрыть: это не поэзия, а недоразумение одно. Qui pro quo[2]. Возьмите в пример сказки: что глупей и бессодержательней, — простите... Вечный Иван-царевич и вечный deus ex machina[3] в лице какой-нибудь шапки-невидимки, палки-дубинки и тому подобной дребедени. Богатства замысла, поэтических подробностей, — не спрашивайте. Возьмите вы братьев Гриммов и нашего Афанасьева с одной стороны, какая-то привлекательная загадочность, тонкий и здоровый юмор, кропотливая постройка замысловатых подробностей, ясное отражение быта и мирозерцания; с другой — юмор, если и здоровый, то в смысле дубины, подробности — аляповаты и наивны до приторности, содержание бедно. Я раз в одной российской сказке, — я не про земское положение говорю, — сосчитал слово «опять». Представьте, тридцать пять раз повторялось это слово! Ровно тридцать пять. И все соединяло — известную подробность с другой известной подробностью, избитое происшествие с другим избитым... А тенденции!

Дурак побивает умного в силу выпретенных наитий каких-то — за дурака и бог, и добрые люди, — и это беспрерывно. Ну потешь дурака, да знай же и честь. Дальше. Какой-нибудь ловкий прохвост и заведомый каналья героем объявляется!.. Забавой, кроме мерзостей да холопского послушания в виде единственной добродетели, ничего не признается... Помилуйте-с!.. А это еще вопрос, почему «людскую молвь да конский топ» я за поэзию должен признавать... Может, оно еще и не поэзия... Пушкин-то и ошибиться мог: ведь недаром Мериме на славянских песнях-то его поддел... — И Волхонский вдруг как бы спохватился. — Впрочем, что же это я о Пушкине... — проговорил он виноватым тоном.

А Тутолмин переживал странное состояние. С первых слов Волхонского о русских сказках в нем закипела жестокая злоба к этому эффектному баричу, так покойно развалившемуся в своих мягких креслах. Но по мере того как Волхонский говорил, злоба эта пропадала и сменялась каким-то холодным и надоедливym ощущением скуки. Он вяло и уже без малейшего раздражения следил за

желчными выходками Алексея Борисовича, и когда тот кончил, только для приличия возразил ему:

— Но песни...

— Ах, песни! — живо подхватил Волхонский, возбужденный собственным своим красноречием. — Ну конечно, как не быть поэзии в русской народной песне. Брызжет!.. «Во ракитовом кусточке лежал-потягался молодчик»... Так, кажется? («И охота ему ломаться!» — думал Илья Петрович). Или: «Не белы-то снега в поле забелелися, — забелелись у мово милова белокаменны палаты», в которых какие-то «писаря» что-то пишут... Или: «Как по матушке по Волге сподымалася невзгодушка», и в косной лодочке подплывал «ко Татьянину подворью» целый гардероб в образе камзола, штанов и прочего скарба («Pardon, Варя!» — произнес он в скобках). Бог с вами, какая же это поэзия!.. Это смех, это, если хотите, лепет ребяческий, а отнюдь не поэзия. А приемы! А этот вечный и часто совершенно нерезонный переход от какой-нибудь ивушки к девке, у которой «ненароком» развязалась оборка у лаптя!.. Или, может быть,

скажете, что в образах, в оборотах речи ваши песни прыщут поэзией?.. А я вот не понимаю этого. Я не понимаю, почему выражение: «снежки белы лопушисты — именно „лопушисты“ — покрывали все поля, одно поле не покрыто — поле батюшки мово», почему это выражение поэтичнее, хотя бы такого:

*И ты богиня, о
Я шел деревню чрез, —
Мужик несет вино,
В жилище крыши без...*

Все засмеялись, а Тутолмин снова подумал: «И чего он ломается?»

— А возьмите изображения ваших песен, — с пуцким жаром продолжал Волхонский, — возьмите ихние идеалы. Вот герой, пользующийся явным сочувствием песни: «Чисто, щепетко по городу погуливат, он енотову шубенку за рукав ее тащит (каков!), бел персицкий кушачок во белых руках несет; черна шляпа с подлиманом (вы не знаете, что это за штука такая?), черна шляпа с подлиманом на русых кудрях его...» Хорош гусь! — И пренебрежительно добавил: — Нашли поэзию!

— Видите ли, какая она штука, — совершенно спокойно сказал Илья Петрович, — спорить нам бесполезно: между нами органическое непонимание. Вы говорите про Фому, я — про Ерему.

Варя незаметно кивнула головою.

— Но помилуйте, — несколько обидевшись, возразил Волхонский, — я ведь знаю, что на свете есть логика.

— В том-то и дело, что логика-то у нас разная. Ну к чему поведет, если я буду вам говорить, что трудно себе представить более поэтический оборот, как этот: «Не шуми ты, мати, зелена дубравушка, не мешай мне молодцу думу думати», и что вообще вся эта песня насквозь проникнута великолепнейшей образностью и строгой величавостью тона... Вы скажете, что любой сонетик Пушкина перецеголяет эту песню.

— А эта песня приведена у Пушкина! — живо произнесла Варя.

— Ей-богу, не помню-с, — может, и приведена, — небрежно проронил Тутолмин.

— В «Капитанской дочке», — напомнила Варя.

— Ей-богу, не помню-с, — упрямо повторил Илья Петрович.

— Ах, какая прелестная песня, папа! — воскликнула девушка. — Ты не поверишь, до чего она делает впечатление... Именно какая-то величавость в ней и строгость тона!

— Может быть, — сухо ответствовал Волхонский и с видом изысканной вежливости предложил гостям сигары.

Произошло неловкое молчание. Тутолмин порывисто сосал сигары и думал с досадою: «И зачем меня занесло в этот комфортабельный катух?!» А Варе было нехорошо за отца; и не то, чтобы она не соглашалась с ним, — ей даже нравилась юмористическая форма его выходок, — но отношение к этим выходкам Тутолмина смущало ее. По этому отношению она догадывалась, что отец говорит, должно быть, очень избитые и, пожалуй, даже пошлые вещи. И что вообще он, должно быть, ужасно отстал. И ей было больно это. Она даже чувствовала, как кровь прилиwała к ее щекам и шея нестерпимо горела под двойными городками рюша. Захар Иваныч тоже был недоволен. «Испортили вечер миляге», — ду-

мал он, мельком поглядывая на сумрачную физиономию Ильи Петровича.

И вдруг Волхонский ясно увидел, что он произвел дурное впечатление. «Однако не подумал бы этот *misérable*[4], что я консерватор, — опасно шевельнулось в нем, — ведь у них, если на мужичка посмотрел косо, и пропал бесследно...» И странное ощущение какой-то холодной и неприязненной струи коснулось его.

— Но, разумеется, не в этом суть, — произнес он торопливо и мягко, — суть в том, что и с песнями, и без песен живетесь тяжело. А что делать? Приходится сидеть в стороне и смотреть, как безнаказанно гибнет народ с несомненной исторической ролью и как его нищенский скарб расхищается на пользу различных звездоносцев...

Варя встрепенулась. «Как хорошо он это сказал, милый папка!» подумала она и с невольным торжеством поглядела на Тутолмина. Но Илья Петрович сидел по-прежнему угрюмый и с нетерпением кусал сигару. «Что же это!» — внутренне воскликнула девушка и застыла в недоумении.

А Волхонский распространился в необузданных речах. Он пылал. Он чувствовал, как упругие волны какого-то радостного восторга непрерывно подмывают его и охватывают мелким ознобом и приятно стесняют ему дыхание... «Все равно — не донесут!» — думал он иногда, отпуская чересчур резкое словечко или дерзко касаясь фактов, недоступных обсуждению. И говорил, говорил неотступно...

Илья Петрович все молчал и безучастно смотрел на дымок сигары. Но вдруг он вскопчил: Алексей Борисович, покончив с критикой существующих безобразий, перешел к рецептам и жадно завздохал о палате лордов.

— Не бывать этому! — задорно закричал Тутолмин. — Отдавать народ в руки баричей и золотушных культуртрегеров!.. Вручать его судьбы шайке космополитических хлыщей!.. Отравлять его вождедения фельетонными идеалами вылощенных болтунов!.. Не бывать этому, почтеннейший господин!.. Пока существует Русь, пока живы исторические стремления русского народа, пока вы его не опутали сетью ваших мероприятий жидовско-индустриального свойства, — этому не бывать!..

А следовательно, *никогда* не бывать!

— Но ты забываешь, Илья, что каждому времени — выражение своих потребностей, — вмешался Захар Иваныч, несколько огорченный непочтительным обращением Тутолмина к Алексею Борисовичу.

— А! Каждому времени! — вцепился в него Тутолмин. — Так ты со своим паршивым рационализмом потребности времени представляешь?.. Врешь!.. Ты раздраженье пленной мысли представляешь, а не потребности... На какого дьявола нужны все твои скоропашки и скоромолки?.. Мужик вот возьмет да вжарит ренту до чертиков — скоропилки твои и пойдут на гвозди... Да, на гвозди-то самые обыкновенные, — корявые и неуклюжие, — мужику грядущку к навознице приколачивать... И первый же вот либеральный барин, — указал он на Волхонского, — пропишет тебе отставку с твоими скоровейками и скоросейками, ибо прельстится на мужикову сумасшедшую ренту... Кому ты рассказываешь!

— Стало быть, вы науку отрицаете? Интенсивность отрицаете? — ядовито осведомился

Волхонский.

— Да что он!.. — воскликнул Захар Иваныч и безнадежно махнул рукою.

— Нет-с, не отрицаем, — возразил Илья Петрович, сверкая глазами, — мы только барчат отрицаем!.. А поскольку наука народу служит — поклон ей земной. Вот-с.

Но тут голоса смешались в такую кашу, что трудно было разобраться в них. И Захар Иваныч кричал, и Илья-Петрович кричал, и даже Волхонский, раззадоренный неукротимостью Ильи Петровича, утратил свою коммьфотность и тоже кричал. А Варя весело наблюдала за ними. Правда, она почти ничего не понимала; но она видела, что отец выходит из себя и постоянно меняет тон, то придавая ему ядовитое выражение, то переполняя его ироническим смирением; что Захар Иваныч смешно краснеет и беспрерывно повторяет одни и те же доказательства и как бы вращается в каком-то заколдованном круге... И что Илья Петрович как будто разбивает своих противников, хотя излагает (или, лучше, выкрикивает) очень странные мнения. И мнения эти интересовали девушку: с одной

стороны, они как будто ужасно консервативны, но с другой... с другой — либерализм отца кажется пред ними чем-то жидким и мелким. «Мелким!» — повторила Варя вполголоса. «Отчего же это? — подумала она. — Ведь все, что говорил отец в этом либеральном духе, так ей нравилось прежде! Особенно красота и благородство его выражений нравились. Почему же теперь дикие возражения Ильи Петровича как будто вытравили всю суть из этих благородных выражений, и они как-то празднично звенят, без толку утомляя внимание. Вот фокус-то! — сказала и внутренне усмехнулась девушка. — Нет ли во мне скверных зачатков каких, — консервативных?.. Не перешло ли ко мне чего от бабушки? (Бабушка Варвары Алексеевны и до сих пор отстаивала аракчевские порядки.) Не потому ли странные мнения Ильи Петровича привлекают меня?.. — Но тут же вслушивалась в невыразимый крик Тутолмина и задумчиво повторяла: — Нет, нет, он не консерватор!» И вдруг ей ужасно захотелось проникнуть в мир идей, волновавших Илью Петровича, узнать его убеждения, перенять от него обильные познания, ко-

торыми он так легко побивал Алексея Борисовича, а Захара Иваныча заставлял беспомощно топтаться на одном месте. «Все это, должно быть, очень оригинально», — подумала она и пристально посмотрела на Тутолмина. Растрепанный, бледный, с горящими глазами, он теперь показался ей привлекательным, и даже несчастный сюртучок его показался ей необходимым дополнением к его оригинальной наружности. Будь на нем сейчас изящный фрак от Тедески, ей это, может быть, и не понравилось бы.

Разошлись поздно. Илья Петрович, бесконечно взволнованный спором, совершенно забыл о существовании Вари, и когда она сказала ему: «Прощайте же, Илья Петрович!» — рассеянно сунул ей руку. На дворе была тишина. Звезды горели ясно. Острый холодок пахучей струйкой доносился из сада. На земле лежал легкий мороз.

— Однако ты... — с мягким упреком произнес Захар Иваныч.

— Не могу я, — угрюмо проворчал Тутолмин. В молчании вошли они к себе в комнату.

— Но согласись, что все-таки Алексей Бо-

рисович человек гуманный; а в политическом отношении все же лучше монстров каких-нибудь, — как бы извиняясь, сказал Захар Иваныч, замечая, что мрачная полоса не сходит с Тутолмина.

— На то они и монстры, — возразил тот отрывисто, но вдруг посмотрел на Захара Иваныча и рассмеялся. — А насчет либерализма я тебе вот что скажу, друг любезный. Есть у меня барыня одна знакомая. Тоже большая либералка. Та не только конституции — республики требует. Только, говорит, чтоб мужика этого противного не было.

А Варя вошла в свою комнатку и долго не раздевалась. Она стояла и смотрела в окно и думала о Тутолмине. Прозрачные тени лежали на полях. Роща недвижимо темнела. В озере сияли звезды и как будто с любопытством переглядывались с теми, которые горели в вышине. Высокий камыш задумчиво смотрел в воду. «А должно быть, он очень умный, этот Илья Петрович!» — прошептала девушка и с тихим вздохом стала расстегивать свое платье из синей французской вигони.

Наутро Илья Петрович проснулся поздно. В соседней комнате нетерпеливо бушевал самовар. В окна светило солнце. Илья Петрович потянулся и посмотрел на белый потолок. Внезапная веселость овладела им. «А славно тут у них, черт возьми!» — воскликнул он и проворно вскочил с постели. Вошел вчерашний заспанный мальчик с рукомошкой в руках и с полотенцем через плечо. Теперь у него вид был бойкий и живой.

— Тебя как звать, — Акимкой? — шутливо спросил его Тутолмин.

— Алистратом, — отвечал мальчик, посмеиваясь.

— Ну, Алистрат, давай мыться. — И Тутолмин стал шумно плескаться холодной водою. Затем он оделся и вышел в другую комнату. Обе комнатки были уютны и светлы. В них дышалось как-то легко: особенное чувство успокоения сходило среди этих стен, ярко выбеленных мелом.

К чаю появился Захар Иваныч, немилосердно гремя своими длинными сапогами.

Вместе с ним запах какой-то славной свежести ворвался в комнату. Да и сам он был славный: розовый румянец заливал его добродушное лицо и глаза оживленно блистали. Оказалось, что он встал сегодня в три часа и до сих пор находился в поле. У него начинался сев. Новые сеялки, выписанные от Липгарта, работали великолепно. «И, представь, до чего сметлив этот русский человек, — поспешно рассказывал Захар Иваныч, — я все не догадывался: почему сеялка вдоль борозд высеивает столько-то, а поперек — больше. И что же! Нестерка, бездомовник, пропойца, лентяй, сразу открыл Америку: весь секрет-то в том, что вдоль борозд сеялка идет плавно, а поперек — порывами, а потому усиленно выталакивает семена... Простая штука, а поди ты с ней!.. Ведь все горе-то — эта закаменелость русская. Тот же Нестерка непременно на жниво уйдет от меня, и не удержать его ни за какие пряники... А куда уйдет? Паршивую ржишку убирать, да потом эту же ржишку и жрать пополам со всяким дерьмом!.. В голод, в холод уйдет!»

Илья Петрович безостановочно пил чай и

тонко посмеивался в ответ на рассказы Захара Иваныча. Нервы его были как-то странно покойны. На душе было ясно и тихо. И он вспомнил о вчерашнем вечере. «Для чего кипятился?» — подумал он, и особенно противен стал ему вчерашний вечер. «Не заманут!» — промелькнуло у него. Но вместе с этим как будто и приятное чувство шевельнулось в нем. Он с удовольствием припомнил внимательное личико девушки и ее грациозную фигуру, изящно драпированную платьем, и ее пристальный взгляд, умный и блестящий...

— Вот завтра поедем-ка паровой плуг пытаться, — продолжал между тем Захар Иваныч, — по случаю куплен. Стоит две тысячи фунтов, а я за семь тысяч рублей купил. Лорд тут один в трубу вылетел. Любопытная штука. Осенью-то привезли его по заморозкам, я и не успел попытаться. А интересно. В Бельгии, у Платера, двенадцать гектаров катает. Как-то у нас?

— Да на какого лешего тебе паровой плуг?

— Ты не знаешь, брат. Я с ним ведь на все кризисы плюю. А то два года тому у крестьян

случился урожай богатый — плугарей я и не нашел.

— Так, значит, урожай богатый — для вас кризис? — иронически заметил Тутолмин.

— Не придирайся ты к словам, пожалуйста. —

Но Тутолмин и не придирался. Он только посмеивался себе в бороду да аккуратно опоражнивал неисчислимы стаканы с чаем. А по уходе Захара Иваныча стал разбираться со своими вещами. Из чемоданчика вылезли на свет божий и поместились на комод несколько растрепанных книжек какого-то журнала, да толстое исследование об общине, да «Крестьяне на Руси» Беляева, да несколько программ для собирания сведений по различным отраслям народного быта. В конце концов на комод же появилась и знакомая нам записная книга. Илья Петрович развернул ее, прочитал несколько страниц, написанных спутанным и торопливым почерком, и нахмурился. Это были песни, сообщенные ему Мокеем. «Вот тебе и „Не шуми ты, мати, зелена дубравушка!“» — сказал он с горечью. И опять мелькнул перед ним образ Вари. «Ишь

ты — упомнила!» — подумал он, вспоминая, как Варя заступилась за него по поводу этой песни, и снова какое-то кроткое и приятное чувство шевельнулось в нем.

К вечеру пришел Мокей и принес еще две песни. Илья Петрович аккуратно записал их и дал Мокею двугривенный. Но Мокей посмотрел на монету и сказал:

— Это что! Мы и так завсегда вашей милости... — Тут он спрятал монету в кошель. — Ты вот местечко мне поспособствуй у Захара Иваныча.

— Какое местечко?

— Да в работники, например. Я, брат, на селках-то отчаянный.

Илья Петрович сокрушился.

— Да у тебя что, нужда, что ли? — спросил он.

Мокей почесал затылок.

— Коли не нужда, — ответил он. — Нужда-то нуждой, а тут отсеялся я. Так и быть, послужил бы я Захар Иванычу, парень он хороший.

— Да ты бы к нему и лез, — рассердился Туттолмин. — Что ты ко мне-то? Захотел ярма и

лезь сам. Я-то тут при чем?

Мокей снова и уже с большей настоятельностью почесал в затылке.

— Серчает он на меня, — произнес он.

— Кто серчает?

— Захар Иванович.

— За что?

— А за что! Спроси! — в благородном негодовании заторопился Мокей. — Народы-то у нас очень даже приятные... У нас мастера ямы-то рыть под доброго человека... У нас, ежели не слопать кого, так праздник не в праздник!..

— Стало быть, наговоры на тебя?

— Наговоры, — кротко сказал Мокей.

Илья Петрович помолчал.

— Или перемогся бы? — наконец вымолвил он.

Мокей потрянул волосами.

— Никак невозможно, — сказал он решительно.

— Ну к своему бы брату, мужику, нанялся. Там хоть равенство отношений. («Эку глупость я отмочил!» — подумал Тутолмин в скобках.)

— Как можно к мужику! — горячо возразил Мокей. — Мужик на работе замучает. Мужик прямо заездит тебя на работе! Нет, уж вы сделайте милость.

— Хорошо, я скажу, — печально согласился Тутолмин.

Мокей рассыпался в благодарностях.

— А что насчет песен, это уж будьте покойны, — говорил он. — Я тебе не токмо песни — чего хочешь предоставлю. Мы за этим не постоим! — И вдруг игриво добавил: — Будешь в деревню ходить — девки у нас важные.

Илья Петрович хотел было рассердиться, но вовремя опомнился и сказал:

— Нет, уж насчет девок ты оставь, Мокей, — я женатый.

— О? Не уважаешь? Ну, как хочешь. Насчет девок не хочешь — песни буду представлять. Я, брат, ходок на эти дела. Ты у кого ни спроси про Мокея, всякий тебе скажет, например. Я не то, что другие, — измигульничать не стану.

Вечером, когда приехал Захар Иваныч, Тутолмин сказал ему о желании Мокея. Захар Иваныч поморщился.

— Больно уж он неподходящ! — сказал он.

— Чем же? — спросил Илья Петрович.

— Да как тебе сказать: очень уж он привередлив. Он ведь жил у меня раза три. Надо тебе сказать, что за пищей рабочих я сам слежу, и уж что другое, а пища у меня сносная...

— Да он говорил мне об этом.

— Ну вот видишь. Говорить-то он говорил, а когда жил — у меня недели не проходило без скандала: то то ему не хорошо, то другое. То масло горчит, то в крупе гадки много, то говядина не жирна. Просто наказание! И представь себе: сейчас же собьют всех, сговорит, и скопом являються расчет просить. Помучил он меня. Ты не поверишь — я в лето три кухарки сменил, и все из-за его претензий. Вот он какой, этот Мокей.

— Да отчего же он такой требовательный?

— А бог уж его знает. Живут они плохо и дома, я уверен, мяса в глаза не видят, Я тебе говорю: окаменелость какая-то. Вот уходил он от меня: один раз ушел, — чирый на спине вскочил, — не смех ли! Другой раз — рансомовский трехлемешник ударил его рычагом по сапогу... А третий — смешно даже сказать:

ночевал он в картофельной яме и вдруг говорит: «Я, говорит, не буду здесь ночевать». — «Отчего же ты не будешь?» — «Леших боюсь...» Уговаривал его, убеждал, — ничего не помогло. Так и ушёл! Вот он какой, этот Мокеев.

Илья Петрович засмеялся.

— Да, действительно неудобный продукт для капиталистических манипуляций, — сказал он. — Но ты все-таки его прими. Как хочешь, а ведь в принципе-то все-таки отлично, что у Мокеев такое органическое нерасположение к ярму.

— Поди ты! — с неудовольствием произнес Захар Иваныч, но все-таки не забыл сказать явившемуся приказчику, чтобы он взял Мокеев.

После чая Захар Иваныч отправился в дом. Тутолмин, разумеется, отказался сопровождать его. Он весь вечер прокопался за материалами, собранными в записной книжке. Много сведений он разнес оттуда по различным отделам. Большинство досталось общине; затем добрый кусок зацепили обычное право и раскол; этнография удовольствовалась мень-

шим, и наконец самую маленькую частичку получила статистика.

Захар Иваныч возвратился с новостью: Варвара Алексеевна просила Илью Петровича поехать с ней в шарабане на испытание парового плуга. Старику нездоровилось, и он оставался беседовать с Куглером. «Вот еще не было печали! — как будто с видом неудовольствия воскликнул Тутолмин, отрываясь от своих материалов. — Я и править-то не умею». Но в душе он был доволен этим предложением. И когда лег спать, несколько раз подумал о Варе. Нервы его были слегка возбуждены. Сердце беспокойно трепетало. Ночью он часто просыпался и злился на безмятежное сопение Захара Иваныча. Мерный лязг часового маятника тоже раздражал его.

VI

Славная погода установилась на другой день. Правда, солнце не светило и небо было покрыто сплошными тучами, но теплота стояла в воздухе изумительная. От полей подымался пар. Тонкий и затхлый запах земли разлит был всюду. Даль подернулась влажностью. Неумолкаемые крики грачей мягко замирали в отдалении.

Было воскресенье, и целая толпа привалила из села поглазеть на паровой плуг. Девки в ярких платках грызли семечки; нарядные парни стояли отдельными группами и громко пересмеивались; ребятишки затевали игру в «репку», мужики сосредоточенно ходили около локомотивов. Эти локомотивы приехали на место еще вчера и теперь разводили пары. Захар Иваныч озабоченно посматривал на манометр. Замазанный и шершавый кочегаришка метался как угорелый с масленкой в руках и в свободные мгновения важно озирался на мужиков. Нахмуренный машинист, в валенках и в круглой касторовой шляпе, глубокомысленно разглядывал какую-то за-

клепку. У другого локомотива, поместившегося на том конце опытного поля, тоже толпилась небольшая кучка зрителей.

Захару Иванычу, очевидно, не нравилось это присутствие посторонней публики. Он не особенно надеялся на успешность опыта: локомотивы были-таки достаточно помяты жизнью, и лемеха посматривали подозрительно. А этот неуспех непременно подал бы повод к насмешкам, на которые так щедр простодушный российский мужичок. Вот и теперь уже между ними с какой-то комической неподвижностью стоит Влас Карявый и производит ядовитые свои шуточки, на которые мужики сдержанно усмеваются. А тут как да грех легкое топливо давало мало жару и стрелка манометра подымалась с возмутительной медленностью. «Вали, вали, Николай!» — торопил Захар Иваныч рабочего, подкладывающего дрова, и тот целыми охапками валил эти дрова в ненасытное жерло топки.

— Ты бы, Миколай, прямо с возом туда въезжал, — скромно заметил Влас Карявый. Толпа хихикнула. — Право бы, способней с во-

зом... А то взял бы ворота с конюшни туда за-
садил... Кто ее щепкой-то растревожит, экую
прорву!

— Растревожим! — невнятно проворчал
явно сконфуженный Николай.

Захар Иваныч отошел в сторону.

— Я бы амбарушку продал, — сказал дру-
гой, — дать бы за нее рублей тридцать, я бы и
продал: все бы, глядишь, на раз хватило.

— Подавишься, — вымолвил Николай.

— Эка ты чудачина, — подхватил Каря-
вый, — кабыть у них лесу мало. У них, чай, Ре-
душки... Все как-никак поглощается лето-то.

— Что экой прорве Редушки!.. В Редушках
всего-то никак сто десятин... А ты гляди-ка на
нее!

А один дряхлый старик все смотрел и
вздыхал. «Что же это будет такое?» — шептал
он в каком-то ужасе и беспомощно перебирал
пересмягшими своими губами. «Эй, девки! —
кричали из толпы парней. — Печка-самопека
приехала... Кому желательно блинцов поку-
шать!.. А мы духом сыти...» — «Нет, это жар-
птица, — возражали девки, — а вот Иван-ца-
ревич!» — и они с хохотом указывали на чу-

мазого кочегара.

Несколько мужиков, наиболее отличавшихся солидностью, ходили около плуга и с любопытством ощупывали блестящую поверхность лемехов. Иные в задумчивости покачивали головами. А один все заходил и, прищуривая один глаз, следил за изгибом лемехов. «Вон оно как!» — наконец промолвил он и решительно нахлобучил шапку. «А что?» — спросили его. Но на это он ничего не ответил и многозначительно отошел от плуга. «Не пойдет», — заявлял другой. «Ну, как не пойти!» — возражали ему. «А вот пласт он отваливать не станет — это верно. Ты гляди, как отвалы-то приспособлены». И все согласились, что точно пласт не будет отваливаться.

По мере того как пар бездействовал и все новые и новые охапки дров бесследно исчезали в топке, настроение народа становилось все веселее и веселее. Наряду с этим прислуга была явно обескуражена. Николай даже изъяснил склонность к измене: стал насмехаться над печкой, так беззастенчиво пожиравшей его труды. «Эка хапуга проклятая, право хапуга!» — восклицал он. Один только Мокей не

унывал (он уже очутился в усадьбе). С какой-то грязнейшей тряпкой в руках он весело суетился вокруг локомотива и беспрестанно отпускал соответствующие замечания. Так, когда близ него находился Захар Иваныч, он говорил вполголоса, видимо обращаясь к машине: «Врешь, матушка, пойдешь! Не на таковского наскочила, и не таких, как ты, объезживали...» Когда же ему случалось пробежать мимо мужиков, он корчил лукавую усмешку и произносил: «Дела не наделаем, а лупоглазой невестке глаза вставим!» И мужики сочувственно ему улыбались.

В это время подъехал и Туттолмин с Варей. Всю дорогу он испытывал приятное и неутрачиваемое волнение. Резвый побег горячего серого жеребца, которым правила Варя, эластическое покачивание рессорного экипажа, мягкий треск колес, с изумительной быстротою попиравших почву гладкой дороги, пробитой по выгону, а пуще всего соседство красивой и возбужденной девушки — переполняли все его существо глубоким удовольствием. А Варя действительно была хороша. В своей широкой зимней шляпе, кокетливо надвинутой

на глаза, в своем тяжелом плюшевом костюме, ловко обхватывавшем ее упругий и гибкий стан, она и не на Илью Петровича могла бы сделать впечатление. День — тихий и теплый, кроткое и задумчивое очертание далей, запах свежеразрытой земли, стоявший в воздухе, близость Ильи Петровича с его лицом, сосредоточенным и добрым, — все это отпечатлевалось на ее душе ясными и безмятежными полосами, и глаза ее глядели безмятежно.

Около локомотива у них приняли лошадь, и Варя подхватила Тутолмина под руку. Но тому уже не до ней было. Народный говор, оживленные толки мужиков и баб, явно недоброжелательное отношение их к машине, смущенный вид Захара Иваныча и прислуги — все это сразу охватило его интересом. Он рассеянно выпустил руку Вари и направился к толпе. Девушка опешила, и даже горькое чувство обиды вдруг шевельнулось в ней, но обстановка и ее скоро заинтересовала. Она подхватила Захара Иваныча и стала спрашивать его о подробностях устройства машины. Правда, она мало понимала из его

толкований, но тем не менее с любопытством заглянула в огненное жерло топки, постучала пальчиком по толстому стеклу манометра, осторожно прикоснулась к ясным шарам регулятора и даже нагнулась и посмотрела на проволочный канат, плотно стянутый на колесе.

Стрелка наконец возвысилась до сорока пяти градусов. Пар вступил в золотники. Прислуга ободрилась. Народ притих в нетерпеливом ожидании. Машинист с важностью подошел к свистку и повернул кран. Хриповатый и смешной свист вылетел оттуда отрывистой нотой. Здоровенный хохот прокатился по толпе. «Захлебнулась, сердешная!» — сказал Карявый. Тогда рассерженный машинист еще раз прикоснулся к аппарату. Свисток пронзительным и тонким звуком огласил окрестность. Варя закрыла уши. Хохот усилился. «Зазевала! — вымолвил Влас. — Не зевай: надорвешься!» Парни под шумок заигрывали с девками.

А Захаром Иванычем овладевало беспокойство. Дело в том, что рабочий, который один только умел управлять плугом, не яв-

лялся. Он был занят у прежнего владельца плуга и по временам запивал. Последнего-то и боялся Захар Иваныч. Как только колесо локомотива пришло в движение и регулятор медленно закрутился, вся прислуга вместе с Захаром Иванычем устремила взоры на дорогу из усадьбы. Наконец кто-то воскликнул: «Едет Пантешка!»

Не доезжая добрых десяти сажен от толпы, Пантешка выпрыгнул из телеги и направился к плугу. Он был в красной рубахе и в картузе набекрень. Движения его были проникнуты каким-то разухабистым ухарством и лицо изъясляло беззаветную отчаянность.

— Видали наемщика! — встретил его Карявый, и толпа снова отозвалась хохотом.

И действительно, Пантешка живо напоминал собою «наемщиков» былого времени. Те же развинченные ухватки, то же удалство подозрительного пошиба. Он важно осмотрел плуг, осведомился о числе градусов на манометре и, свернув сигарку, направился к толпе.

— Что, галманы, — воскликнул он, — аль гляделки продавать пришли!

— Продашь, — ответил Карявый, — бывало, наемщиков-то под руки водили, а теперь ими плетни подпирают.

— Это кто же был наемщик-то? — подбоченясь, спросил Пантешка.

— Не мы.

— Да и мы не таковские.

— Видать.

— Мы-ста кланяться не станем. У нас и управитель покланяется! — бахвалился Пантешка.

— Как, поди, не поклонится, — простодушно возразил Карявый, — вы, поди, обхождения-то всякого видали.

— И видали.

— Вы, чай, не одно толокно, и зашейное едали.

— Да не сидели на овсянке как галманы которые...

— Где сидеть! Поди, и под заборами леживал!

— Леживали, да с голоду не пухли.

— Как тута пухнуть! Тонкого человека сразу видно.

— И видно.

— Тонкий человек и... (тут Карявый сделал неприличный намек на свойство тонкого человека).

Толпа, утаивая дыхание, следила за пререканиями Власа с Пантешкой. Иногда пробегал по ней тщетно задушаемый смех. Но последнее слово Карявого как будто прорвало плотину: оглушительный хохот вылетел из всех мужичьих грудей и долго стоял в воздухе. Обескураженный Пантешка отплюнулся и подошел к девкам. «Эй, Сашки, канашки мои!» — закричал он, бросаясь заигрывать с ними. Но его встретили руганью и оплеухами. Тогда он снова возвратился к мужикам.

— Ты как же на лопатку-то на эту цепляешься? — с притворной любознательностью спросил его Влас Карявый, указывая на сиденье плуга, торчавшее в воздухе.

Польщенный Пантешка ободрился.

— Ты эфто не так понимаешь, — предупредительно сказал он и неизвестно для чего начал врать: — Я, к примеру, сажусь и берусь за колесо. И как взялся за колесо — тут уже прямо пуцают. А я сижу и гляжу. Плуга направо — я сейчас напрямик ее. Плуга налево — я

опять ее напрямик. Дело, брат, хитрое!

— Чего хитрее! — подтвердил Влас с иронией.

— Рукомесло тоже, — со вздохом вымолвил дряхлый старик.

— А ты думал, не рукомесло, — живо откликнулся Пантешка, видимо стараясь заручиться расположением мужиков. — Я, брат, три лета на ней страдаю. Однава вот руку перешибла, окаянная, повыше локтя, — он указал, — а в другой ногу искорежило, — он снова указал. — Вот оно какое рукомесло.

— Э! — с любопытством воскликнули в толпе. — Как же это тебя угораздило?

— Очень просто, — сказал Пантешка и опять почувствовал в себе героя. — Лемех зацепился за корень за какой аль за голыш, тебя и ковырнет вверх тормашками. Я, брат, разов семь летал. Спасибо, больше все мордой отвечаешь.

— А прежде вы по какой части происходили? — спросил его Влас Карявый.

— В кучерах ездая.

— Тэ-эк. И по купцам живали?

— Живал.

— Едали хорошо?

— Здорово кормили. У нас, у купца Аксенова, от масла переслепли все!

— Тэ-эк... А с лопатки-то с эстой много ли летал? — бесхитростно осведомился Карявый, указывая на плуг.

— Семь разов.

— Ну и летать тебе, видно, до веку! — хладнокровно заключил Влас при общем хохоте предстоявших.

Пантешка обиделся и отошел.

Илья Петрович ходил посреди народа и чувствовал, как земля под ним горела. Настроение толпы глубоко радовало его. Здоровенный ее хохот, беззастенчивый и грубый юмор, свободололюбивое отношение к действительности, насмешки над этим хитрым чудовищем, на славу сооруженным в Ипсвиче, — все это как нельзя более отвечало его теоретическим представлениям о народе и с особенной настойчивостью возбуждало коренные его влечения. «Что, буржуй, съел гриб!» — подсмеивался он над Захаром Ивановичем и нисколько не разозлился, когда тот, выведенный из терпения, сказал: «Э,

брат, и дикари глумятся над Европою, а она все-таки пожирает их через час по ложке!»

А Варя недоумевала. Неприязненное отношение народа к машине печалило ее. В этом отношении ей чужалось дикое и упорное невежество. Она вспомнила некоторые факты из истории (за которую так еще недавно получила на выпускном экзамене высшую отметку) — Стефенсона, Везелиуса, Джиордано Бруно. Вспомнила судьбу «Басурмана», которым зачитывалась в детстве. Вспомнила наконец печальную участь многих открытий и изобретений, так живо рассказанную в иллюстрированных английских волюмах... И в лице огорченного Захара Ивановича, досадливо сдвигавшего свои брови, почувдился ей новый мученик за идею. Тем больше удивляло ее поведение Тутолмина. Он казался таким веселым и ясным, он так сочувственно относился к невежественным выходкам толпы, так явно радовался плохому и медленному действию локобилия, что даже возбудил гнев Вари. Никаких оправданий она не могла подобрать этому поведению Ильи Петровича, — хотя внутренне и признавалась, что желала бы ви-

деть эти оправдания.

— Почему Илья Петрович такой странный? — спросила она Захара Иваныча. — Неужели он радуется их невежеству? — И она указала на толпу. — Но ведь это же гадко!

Захар Иваныч тотчас же заступился за приятеля.

— Бог с вами, Варвара Алексеевна, — горячо сказал он. — Илья на смерть бы пошел за них и за их счастье!

— Но разве счастье в невежестве?

— Эх, долго об этом говорить! — ответил Захар Иваныч, с нетерпением посматривая на стрелку манометра, подвигавшуюся к возможному градусу, — да мы вряд ли и поймем друг друга... У него, видите ли, принцип есть: все для народа, и все посредством народа... Одним словом, он почвенник. И принцип этот, кажется ему, теперь торжествует, потому что другой-то, противоположный, затемнен... Он и рад. Вот видите, я говорил, что не поймете! — добродушно добавил он, мельком взглядывая на Варю, и побежал к плугу.

Варя действительно ничего не поняла, но Тутолмин внезапно предстал перед нею в

ином освещении. Снова какая-то загадочная и таинственная пелена окутала его, и снова проснулось в ней желание проникнуть в его душу и узнать мысли, руководящие странными его поступками.

Наконец колесо завертелось с невыносимым грохотом и потянуло канат. Плуг подкатился к позиции. Пантешка, засучив по локоть рукава рубашки и до невозможности сдвинув набекрень картуз, сел с видом отчаянной решимости и обеими руками ухватился за колесо рычага. Для пущей тяжести рядом с ним, на раме, поместился Мокей. Дали свисток тому локомотиву. Толпа застыла в каменной неподвижности. На висках Захара Иваныча выступил пот. Две-три минуты прошли в немом ожидании. Вдруг цепь напряглась и плуг судорожно дрогнул. Пантешка повернул рычаг; лемеха вонзились в землю... Тонкий пласт разорвался и метнулся в сторону... И тяжелая громадина, неуклюже колыхаясь, двинулась вдоль пашни. «У-лю-лю-лю!» — закричали ребяташки, с визгом бросаясь вслед за плугом. В толпе послышались одобрительные восклицания. «Вот так долба-

нула!.. Гляди, гляди, ребята, выворачивает!.. Словно боров!.. Ай да окаянная!» Но вскоре это настроение снова сменилось насмешливостью. Дело в том, что лемеха действительно скверно отваливали пласт и ножи плохо подрезывали его.

— Швыряет здорово! — сказал Влас Карявый, ощупывая мозолистыми своими руками неподрезанную глыбу.

— Ни красы, ни радости, — заметил другой.

— Может, она к тому и приспособлена, чтоб, к примеру, в снежки с ребятами? — серьезно предположил Влас.

Смешливое настроение неудержимо овладело толпой. Когда плуг прошел другую полосу, Тутолмин спросил Власа:

— Ну что, дядя Влас, каково?

Влас почесал затылок.

— Игрушка занятная, — ответил он с обычным своим, выражением лукавой простоватости, — игрушка такая, что и Волхонку на ней можно проиграть. А дорого стоит?.

— Говорят, семь тысяч.

— А-а! — протянул он с удивлением и, по-

молчав, продолжал: — Что ж — деньги плевые! Нам ежели потянуться два годика да притащить барину оброк, вот-те и игрушка готова... Ковыряй до нового оброка!

Тутолмин не утерпел и ударил Власа по плечу: «Молодчина ты, дядя!» — сказал он. На что Влас кротко отвечал: «Вашею хвалою хлеб едим, батюшка барин», — чем снова, вызвал одобрительный смех окружающих.

Захар Иваныч, конечно, и сам замечал, что плуг пашет неладно. Он ходил за Пантешкой и внимательно всматривался в работу лемехов. Да, кроме лемехов, и локомотили грешили. Когда плуг приближался к какому-нибудь из них, канат начинал крутиться с преувеличенной быстротою. Тогда плуг прыгал, порывисто вздрагивал, а Пантешка изо всех сил кричал: «Стой, стой, дьяволы!» — и, словно утопающий, отчаянно махал руками. Что касается Мокея, то он в таких случаях обыкновенно сваливался на мягкую землю и спокойно предоставлял облегченному плугу метаться сколько ему угодно.

Наконец опыт прекратили. По окончании его Влас Карявый подошел к Захару Иванычу

и сказал:

— На водочку бы с вас, Захар Иваныч.

— Это за что? — удивился тот.

— Как же! Мы старались, Захар Иваныч.

Мы, может, сколько животов из-за ней, окаянной, надорвали.

— Дай, дай! — сквозь смех произнес Тутолмин.

Захар Иваныч опустил в ладонь Карявого несколько монет. Карявый легонько подбросил их и спросил с глубочайшей серьезностью:

— А по какой цене, Захар Иваныч, вам пахота эта ляжет?

— Не знаю... — сухо ответствовал Захар Иваныч. — Гляди, не дороже вашей.

— Тэ-эк-с. Значит, теперь нам по две красненьких будешь выдавать?

— Как по две? За что?

— Опять-таки за десятинку.

Захар Иваныч уразумел ядовитость намека.

— Ну, и по четыре рублика будете наниматься, — с усмешкой сказал он.

— Будем, это верно, — подтвердил Каря-

вый, — и четыре рубля — цена. Ну мы будем пахать, а на этой-то?

— И эта будет пахать.

— Во как, — с почтительностью сказал Карявый и, подумав, заметил: — А ловок у тебя Пантешка править: на этой его пашне ежели гольши посеять — и те, гляди, дурманом обродятся...

— Ну, это мы посмотрим, — угрюмо вымолвил Захар Иванович и отошел от Власа. Толпа со смехом и шутками направилась к селу. Девки звонко затянули песню. Илья Петрович глянул им вслед, и сердце его заиграло; Народ, с торжеством и с сановитым выражением достоинства удаляющийся с поля, показался ему сильным и крепким богатырем, изумительно великодушным в своем превосходстве и кротким во всем сознании сказочной силы своей. «Народ, народ!..» — в восторге воскликнул он и даже еще что-то хотел прибавить, но тут Варя позвала его, и он поспешил к шарабану.

VII

— Илья Петрович, что такое «почвенник»? — спросила Варя, когда они довольно далеко отъехали от плуга.

— Почвенник? — протянул Тутолмин и с удивлением посмотрел на девушку.

— Да? почвенник, — повторила она настоятельно.

В этой настоятельности Тутолмину почудилась капризная нотка.

— Да не костюм от господина Ворта, — насмешливо сказал он.

Варя вспыхнула.

— Я вас серьезно спрашиваю, Илья Петрович, — произнесла она, и в ее дрогнувшем голосе слышались слезы.

— Seriously, — вымолвил Илья Петрович, несколько устыдившийся своей грубости. — На что же это вам серьезно, милая барышня?

— Да уж надо, — уклончиво ответила девушка и подумала про себя: «Как он, однако же, фамильярен».

— Как вам сказать... — И он, подумав, добавил, усмехаясь: — Почвенник — человек, под

которым почва.

— Вы опять шутите, — печально сказала она, — а между тем мне ужасно бы хотелось знать... Неужели только потому, что я такая глупая, вы не хотите сделать меня умнее?

Упрек этот подействовал на Илью Петровича. «А и в самом деле, что это я ломаюсь, — подумал он, — может, и вправду человеку тьма опротивела», — и он с невольным любопытством заглянул Варе в лицо. А она пристально и тоскливо смотрела вдаль и, тщетно осиливая упрямое волнение, кусала губы.

— Вовсе вы не глупая, — серьезно произнес Тутолмин. — А дело вот в чем: что бы вы возмечтали о субъекте, который, не имея об арифметике понятий, захотел бы алгебраическую теорему постигнуть?

— Я вас не понимаю, — сказала Варя, быстро оживившаяся при первых звуках серьезной речи.

— А, однако, это весьма просто. Вы смекаете, что обозначает «народный вопрос»?

Девушка затруднилась.

— Народный вопрос... Это, вообще, о мужчинах... — нерешительно ответила она.

Тутолмин снисходительно улыбнулся.

— Вот и видно, что арифметике не обучены. Ну как же я вас буду в «теоремы» посвящать?.. Скажите вы мне, милая барышня.

— Но ведь это же последователи принципа какого-то, — робко вымолвила Варя.

— Какого же-с? — саркастически осведомился Илья Петрович, которого вдруг неприятно резнула наивность девушки.

— Погодите... — припоминая, произнесла она. — Да! Все для народа, и все... ну, одним словом, все чтобы народ сделал для себя сам.

— Ловко! — отрезал Илья Петрович и засмеялся. — Нет, дело не так просто, — продолжал он, — не так оно просто, драгоценная барышня, и не так бессовестно. Это, может, у вас в гимназии — ведь вы в гимназии изволили обучаться? — может, у вас в гимназии какой-нибудь штатный снотолкователь и внушал вам; только он напрасно. Ежели есть у «почвенника» враги, ежели есть у него лихие люди — так это именно вот из тех гусей, которые «самопомощь»-то эту провозглашают... Вы удивлены, милая барышня?.. Вы туго понимаете?.. Да, такие вопросцы посложнее во-

просов вашего затейливого туалета... Это уж по совести надо говорить... А, однако ж, и туалет ваш в этой же сфере крутится. Вы опять удивлены?.. Между тем это воплощенная простота, хорошая вы моя. И ваш туалет на горбе «народного вопроса» танцует, и ваш щегольской экипажец, и вот те дивы заморские, на которых так опростоволосился мой закадыка Захар Иваныч...

Но тут Илья Петрович взглянул на Варю и нахмурился. В ее лице и вообще во всей ее позе напряглось такое жадное внимание и с такой: пытливой сосредоточенностью устремлены были на него ее глаза, что ему сразу сделалось стыдно. «Как глупо!» — внутренне воскликнул он, подразумевая свои шпильки и уколы, перемешанные с многозначительными намеками... И вместе с этим глубокая внимательность девушки приятно защекотала его самолюбие. Легкое возбуждение снова поднялось в нем. Он почувствовал, что находится в ударе. Факты и мысли, как в ключе, бились в его воображении и, казалось, только ждали предложения, чтоб воплотиться в слово и рядом стройных картин встать пред слушате-

лем. И каким слушателем! Жаждающим, молящим, изнывающим в немом и чутком ожидании... «Принципиальный» человек проснулся в нем.

— Народный вопрос, милая барышня, имеет историю длинную, но в современном его виде недавно гуляет по нашим нервам, — строгим и несколько пересохшим голосом произнес он. — Но уж начинать, так начнем с Адама, и прежде чем «вопроса» коснуться, потолкуем о почве, этот вопрос возрадившей... — И он кратко и выразительно перечислил ей внешние факты русской крестьянской истории. Государственное собирание земли на Москве; немощь в крестьянском обиходе, вызванная этим собиранием; разброд как следствие этой немощи; насильственное прикрепление к земле; непрерывный стон народный, заглушаемый визгом политической суетни; торжественное шествие государственной машины под гул победоносных и иных кампаний, — вот какими чертами он определял эту историю. А дошед до времен пугачевщины — с иронией сказал:

— Это реприманд нумер первый.

Затем в его живом и резком изложении опять потянулись однообразные факты. Систематическое расширение крепостного права. Редкие вздрагивания крестьянского горба, изнывавшего под тяжестью государственных забав. Английский пластырь на зияющих язвах. Наивное свирепство помещного дворянства и плотоядной бюрократии. Наконец, целая сеть кровавых расправ, с особенной настойчивостью расползавшаяся по тихим захолустьям и идиллическим дворянским гнездам, — все это выросло и тянулось пред Варей стройной и сокрушающей вереницей и неотступно заполняло ее воображение.

— Там повар, как куренка, резал свою барыню; там сенная девка подсыпала барину зелья в питье; там мужики дубьем расправлялись со своим мучителем; там просто-напросто «властей не признавали» и объявляли заведомую войну изъедавшему их режиму; так назревал и насыщал атмосферу тяжким предвестием грозы крестьянский протест, — говорил Тутолмин, и на этом прервал свою речь насмешливым примечанием: — Это был второй реприманд.

На освобождении крестьян он покончил с их историей.

— Теперь у нас иная песня потянется, — сказал он, — теперь мы доберемся до «народного вопроса», милая барышня... — И прямо указал на Радищева. — Это первый печальник народный, — вымолвил он, — первый, если можно так выразиться, *принципальный* печальник, то есть сознательный, идейный... — Затем с иронией упомянул о «Бедной Лизе» Карамзина, о чувствительных европейских влияниях во вкусе изысканных пасторалей Ватто, о «романтическом» народолюбии декабристов, о «народности», возвещанной правительством Николая... Когда же дошел до сороковых годов и коснулся литературного направления, вырастившего «Записки охотника» и «Антон Горемыку», ирония его пропала и заменилась несколько пренебрежительной снисходительностью. Он признавал за направлением воспитывающее значение и в этом смысле — известную заслугу, но немного давал ему цены как серьезному выражению крестьянских нужд и крестьянских стремлений. Впрочем, упомянул он об этом

вскользь, и Варя больше по тону его догадалась, что он не большой поклонник «художников» сороковых годов.

Но зато в его голосе явно зазвучали теплые нотки, когда он заговорил о немце Гакстгаузене, о трудах Беляева, о первых исследователях народного быта, народной поэзии, народных понятий о праве и религии. И тут, как бы мимоходом, посвятив Варю в течение западно-европейских социалистических идей — течение, захватившее своими волнами прогрессистов шестидесятых и семидесятых годов, он в широких и ясных чертах представил ей идеальный путь народного развития. «Община — в экономической жизни, песня и сказка — в бытовой, обычай — в юридической, — вот ве-хи, по которым долженствовало направиться этому развитию», — говорил он. И тут же пояснил, что и то, а другое, и третье он понимает в смысле *принципа*, в смысле *типа*, а отнюдь не в смысле формы, ныне застывшей на известной зарубке. (Варя совершенно ничего не поняла из этой тирады, но переспросить не осмелилась.)

Покончив с идеалами, Туттолмин восклик-

нул:

— Но тут-то и начинается вопрос! — и с напускной шутливостью, плохо скрывавшей его волнение, обратился к Варе — Вы, конечно, не понимаете, что такое «вопрос»? Вот что, милая барышня: ежели вам захочется сторублевое платье купить, а папашенька сие воспрещает, — это и будет обозначать «вопрос». В данном случае «вопрос сторублевого платья».

Варя даже не усмехнулась. Она только слушала да вникала неотступно, да смертельно боялась проронить хотя одно слово.

Илья же Петрович перешел к «вопросу». Прежде всего он указал ей на страшное несоответствие действительности с идеальными построениями. Неудержимо увлекаемый предметом речи, глубоко взволнованный рядом воспоминаний, мучительных и мрачных, он в каком-то тоскливом пафосе раскрывал перед Варей бесконечные перспективы народных скорбей. И народ вставал перед нею наподобие Прометея, прикованного к скале... Всеобщее разорение; бесшабашная оргия кулаков, заполонивших деревни, и свирепство патентованных пиявок; тлетворное дунове-

ние себялюбивых начал, входящих в села под флагом римского права; тяжкое изнеможение общины под напором неумолимых государственных воздействий; соблазны фабричного быта, разъедающие основы деревенского мировоззрения; голод, болезни, нищета; нивы, истощенные хлебом, пожраным Европой; розги станových и плети урядников наряду с ужасным молотком судебного пристава, — в таком выражении предстали пред девушкой невзгоды, терзающие Прометея. А Тутолмин, когда перечислил всю эту благодать, когда растревожил свои нервы до мучительной и ноющей боли какой-то, — остановился и сказал с деланной насмешливостью:

— В этом и состоит вопрос, драгоценная барышня.

Варя ничего не сказала. Она чувствовала только, что невыразимая печаль какой-то угрюмой и темной тучей надвигалась на нее и слезы горьким клубком подкатывались к ее горлу... Рысак шел развалистым шагом, звонко стуча копытами и изредка натягивая на себя свободно опущенные вожжи. С серого неба накрапывал мелкий и теплый дождь. Жаво-

ронки низко перелетывали над полями и отрывисто выводили свои песни. На далекой речке суетливо крякали утки.

— Говорите, — прошептала Варя.

— Что же говорить? — грустно сказал Илья Петрович. — Старая история: ты на гору — черт за ногу... Ах, да, — спохватился он, — вы о «вопросе»-то напоминаете? Очень ведь вразумительно, как он произошел и в чем состоит. Произошел он оттого, что вам хочется платья, а папашенька вам сие воспрещает. А состоит — в ваших мероприятиях по приобретению сего платья и в тех подвохах, которые вы по поводу сего приобретения предпринимаете.

— Ваше сравнение не совсем удачно, — сказала девушка и просто посмотрела на Туттолмина. — От платья я могу отказаться и, следовательно, этим отказом решить мой вопрос... А ваш вопрос... — И тихо добавила: — Разве можно от него отказаться?..

— Правда, моя хорошая, — живо произнес Илья Петрович и ласково взглянул на Варю. — А за эту правду я уж вам изъясню, что обозначается словом «почвенник». По секрету

вам сказать, и слово-то это недавнее, да и в употреблении оно местном. Однако же вообразим, что нам до того дела нет. Вообразили?.. Теперь приступим:..— И он с комической торжественностью начал: — Ежели какой интеллигент и вообще деятель строит свои идеалы сообразно идеалам крестьянским — он почвенник. Ежели и в политическом, и в экономическом, и в бытовом обиходе он стремится к воплощению самобытных начал, скрашенных соответствующими научными указаниями — он опять почвенник. Ежели идею развития он полагает в развитии исконных форм народного — экономического и иного — мировоззрения и народного быта, — он снова и снова почвенник, милая барышня. Поняли?..

Но Варя вспыхнула и, в нерешительном смущении кивнув головкой, натянула вожжи. Рысак встрепенулся, жадно расширив ноздри, Тутолмин откинулся назад, и шарбан стремительно покатился к усадьбе.

У домика Захара Иваныча Илья Петрович слез. Но он не сразу вошел в комнаты. Он невольно подождал, пока Варя подъехала к крыльцу и ловко осадил рысака. Суровый и

гладко обритый человек в кашемировом сюртуке поспешно вышел ей навстречу и помог сойти с высокой подножки шарабана. Конюх в щегольской безрукавке, с шапкою в руках, подбежал к рысаку и принял его под уздцы. Варя слегка оправила костюм и, важно кивнув суровому человеку, скрылась за блестящею дверью подъезда.

Неприятное чувство охватило Тутолмина. Ему показалось, что он совершил какую-то измену, выложив перед этой надменной барышней запас сокровеннейших своих помыслов и мечтаний. И вдруг неодолимое презрение к себе, к своей податливости и впечатлительности поднялось в нем. «Разнежился! — воскликнул он с злобою. — В развиватели поступил!.. Романического героя захотел прообразить... Как же! Красивая щеголиха любознательность изволила выказать... благосклонность изъявила... в шарабане рядом с замухрышкой каким-то соблаговолила прокатиться», — и он посмотрел на свое куцее пальтишко, кое-где испещренное пятнами, и сердито плюнул.

А Варя прямо прошла в свою комнату, рас-

сеянно сбросила на руки Надежды пальто и шляпу и опустилась в кресло. Голова ее пылала. Отрывки сумрачных картин, имена, факты, слова Туголмина смутно бродили перед нею в каком-то странном и привлекательном сочетании. Многого она не понимала, — как, например, не поняла его последних слов о «почвеннике»; обо многом слышала прежде в совершенно ином духе и роде; со многим как будто и не могла помириться, — не могла помириться с его отзывом о декабристах, которых знала по «Русским женщинам», — с его непочтительным отношением к «художникам» сороковых годов, из которых Тургенева боготворила, хотя и не читала его «Записок охотника», — но совокупность его речей и мнений как будто открыла перед ней какие-то неизъяснимые глубины. Ей казалось, что даль внезапно расширилась перед нею и раскрыла бесконечные перспективы, и перспективы эти сверкали в чудных переливах загадочного и таинственного освещения и неотступно влекли ее к себе. Сердце ее ширилось и замирало и млело в каком-то сладком и порывистом трепете...

И повсюду вставал образ взволнованного, симпатичного и нервного человека. Она чувствовала, как между этим человеком и ею властительно образуются какие-то нити, крепкие и нежные, и ей было тепло и отрадно от этого чувства. Она припомнила его голос, глубокий и мягкий, его простое обращение, которое вначале показалось ей таким грубым и фамильярным («Нет, это не фамильярность!» — воскликнула она теперь.), его ласковое участие. И она начала представлять себе подробности разговора, его насмешливый тон вначале, его увлечение потом... И вдруг сухая и резкая полоса прикоснулась к ней. «Боже мой, какая же я глупая! — воскликнула она и с отчаянием всплеснула руками. — Ничего-то я не знаю, ничему-то нас не учили!» И она снова стала возобновлять в своей памяти имена и факты, сообщенные ей Тутолминым. Но они бродили перед ней как тучки, разорванные ветром. Стройность, последовательность, смыкавшие их в законченные и живые картины, исчезли. И только их смысл, их внутреннее значение по-прежнему волновали душу девушки таинственным и неясным

очарованием.

Тогда она в некотором даже ужасе стала припоминать свои познания. Но они, как нарочно, либо упрямо не являлись на отчаянный призыв ее памяти, либо представляли в жалком и наивном убранстве. Явился Пипин Короткий — маленький и розовый старичишка — в сообществе с молодеватым Карлом Бургундским; впорхнул расфранченный Людовик XIV под ручку с толстой дамой — Анной Австрийской и в сопровождении пронырливого старика в длинной фиолетовой рясе — Мазарини. Вошел тяжелой поступью угрюмый Кромвель, окруженный толпою важных и чопорных пуритан с библиями в руках; приехал в каких-то носилках рыхлый и дебелистый царь московский в ризе и митре; величественно приплыла благосклонная Екатерина II, окруженная раззолоченной и напудренной знатью. И сверкающий кортеж медлительно разгуливал под звуки различных маршей и гимнов и фигурировал на каких-то раскрашенных подмостках, высоко возносившихся над землею. Внизу в неясных и смутных очертаниях двигались массы. Массы эти орали

как оглашенные, палили из ружей, дрались, кричали «ура» и «виват», перебежали с места на место бестолковыми волнами...

Вот и все. Затем перед Варей пробежала оципанная и кургузая физика — необыкновенно похожая на цыпленка; математика, строгая и сухая как треска; пышная и надоедливая география со своими метрами, футами, меридианами, тропиками, штатами, городами, градусами...

Варя схватилась за голову и в тоске припала к столу. Ей стало нестерпимо жаль этих лет, проведенных в гимназии, — потерянных лет и глупых, как теперь ей казалось, и гимназическая жизнь предстала перед ней не в виде лакированных пейзажиков, как представляла прежде, а скучная, пошлая, пустая. Механическое усвоение разнообразных наук, сладкое замирание над романами, дразнящие мечты вперемежку с пустыми и наивными разговорами подруг... «Господи, как это мелко и ничтожно!» — воскликнула Варя и горько усмехнулась. А между тем и тогда были порывы и неясные стремления к какому-то свету. Некрасов волновал ее; и перед ре-

чами отца она благоговейно склоняла голову; она знала наизусть многие стихотворения из «Полярной звезды», которую однажды вручил ей Алексей Борисович с строгим наказом не давать никому...

И она достала из ящичка тетрадку, в которую переписывала стихи, и небрежно зашелестила ее листами. Вот –

*Добро б мечты, добро бы страсти,
С мятежной прелестью своей,
Держали нас в своей напасти...*

Вот еще... Но среди таких мотивов явно превозмогали иные. С досадой и с каким-то чувством обиды она проследила эти «иные» мотивы, но на последней странице она прочитала:

*Если ты любишь, как я, бесконечно,
Если живешь ты любовью и дышишь.
Руку на грудь положи мне беспечно —
Сердца биенья под нею услышишь.
О, не считай их...*

И вдруг задумалась и вспыхнула стыдливым румянцем и туманно посмотрела вокруг себя. Но спустя минуту снова очнулась. И снова пришла в отчаяние. Ее приходили звать к обеду. Она не пошла. Она легла на кровать и, крепко прижимаясь к подушке, плакала, плакала неутешно...

Спустились сумерки. В комнате было тихо. Столовые часы однообразно и мерно звенели своим маятником. Варя поднялась и решительно подошла к столу.

«Добрый, хороший Илья Петрович, — порывисто писала она на листке прелестной репсовой бумаги от Дациаро, — помогите мне, спасите меня от пустоты. Я ничего не знаю, ничего не помню, но я страстно, — слышите ли — страстно, настойчиво, глубоко, хочу знать. Научите меня. Скажите, что читать. Приходите к нам чаще... Вы не поверите, как я изменилась. Я будто родилась вновь... Ах, вы не знаете, какое искреннее, какое горячее спасибо я вам говорю. Вы свет мне открыли. Вы дали мне жизнь... Вы... вы... хороший вы человек, Илья Петрович!..

Крепко жму вашу руку.
Варвара Волхонская».

А голый бронзовый мальчишка, копавшийся на столовых часах, лукаво поглядывал на Варю, прикасаясь к своим губам изящным бронзовым пальчиком.

VIII

Прошли недели. На деревьях затрепетали листья; в саду появились соловьи. С каждым днем солнце становилось жарче и небо ласковей простиралось над землею. Поля оделись всходами. Шумные грозы не раз тревожили воздух. Камыш на озере зазеленел как лук. Дикие утки плескались в заводях. В роще закуковала кукушка. Кроткие горлинки мелодично оглашали аллеи. Яблони начинали зацветать... Зори погорали в небе долго и пламенно. Иногда мерцала шаловливая зарница. Из села по вечерам долетали песни и печально погасали за холмами.

Кучеренок Прошка аккуратно ездил в город и привозил Варе книги. Она брала их по выписке Тутолмина. Часто той или другой не оказывалось в городской библиотеке, больше промышлявшей Рокамболом, и тогда летели требования в Москву и Петербург.

Прислуга находила, что барышня изменилась, и прислуге не нравилось это. Особенно строгую Надежду возмущали новые приемы Вари. Ее сдержанность, мягкость ее тона, уча-

стие к мужикам и бабам, иногда приходившим на заднее крыльцо попросить хины, а особенно осторожное и ласковое отклонение послуг, — все это подымало желчь в Надежде и ужасно противоречило стародавним ее понятиям о барском достоинстве. «Какая вы барышня!» — с глубоким чувством обиды говорила она, когда Варя без ее помощи застегивала пуговицы своих гетр или убирала голову.

Замечал и Алексей Борисович перемену в дочери. Но он нашел, что перемена эта в новом и привлекательном освещении представляет девушку. В ней, например, теперь уж не было прежней резкости манер, то надменных, то чересчур шаловливых, — манер, правда, очень грациозных и очень идущих к ней, но придававших ее фигуре слишком уже колоритный, слишком законченный облик. И вот эта-то «законченность» сменилась теперь мягкостью и какою-то загадочной теплотой, неясно сквозившею в тихих движениях девушки, в сосредоточенном ее взгляде, в ее речах, рассеянных и кротких... Алексей Борисович догадывался и о причинах перемены, но смотрел на эти причины скорее с интересом

«художника, нежели с опасениями отца». «Весна и девятнадцать лет... — с легкою дозой цинизма рассуждал он, — пусть балуется. Притом же ведь эти „лапотники“ (так он прозвал Илью Петровича) ужасные... вислоухие!» И он с удовольствием вспоминал свои волокитства, в которых он уже, во всяком случае, не бывал «вислоухим».

Но иногда он с неприязненным удивлением думал о вкусах Вари. «Откуда у ней эта неразборчивость, — размышлял он, отрываясь от каких-нибудь „Типов Шекспира“ в великолепном немецком исполнении, — уж во всяком случае не от меня. Разве от матери?.. Непременно от матери. Той ведь нравилось все вульгарное, — и добавлял с усмешкой: — Любопытно, любопытно»... — и снова погружался в смакование прелестной гравюры, изображавшей кроткую Дездемону или леди Макбет с негодующим выражением на гордом лице.

Но он встречался с Тутолминым редко и с неохотою. Нужно сознаться, что в глубине души он боялся этих встреч. Он боялся тех познаний, с которыми Илья Петрович вступал в

разговоры о политике, истории, общественной жизни и т. п. Он признавался внутри себя, что его сведения отстали, что интересы его к этим вопросам охладели, что они нагоняют на него скуку... Рассуждений же об искусстве Тутолмин явно и решительно избегал, и, кроме того, Волховского коробила внешность Ильи Петровича — его манеры, его язык, грубый и аляповатый, его далеко не изысканный и даже грязноватый костюм, его привычка есть с ножа, его неряшливые ногти.

Тутолмин совершенно разделял эти чувства Волховского. Как тот не переносил его внешности, так Илья Петрович брезгливо относился к вылощенному виду Алексея Борисовича. Эти белоснежные воротнички à la Delavag или jeune France, эти кокетливо подвязанные галстуки, эти беспрестанные смены изящных костюмов, эти руки, выхоленные и нежные, этот тонкий запах иланг-иланг, всегда веявший от старика, — все претило ему и невыносимо досаждало его демократическим вкусам. В соответствии с этим и к идеалам Волховского он относился, и к его красивой и

плавной речи, унизанной пикантными ядовитостями, и к его эпикурейским наклонностям.

Но он близко и хорошо сошелся с Варей. Он читал ей, рассказывал... И с наслаждением примечал плоды неустанных своих воздействий. Он с какой-то жадностью следил, как мысль девушки росла и развивалась, и в ее умной головке возникли основы стройного мирозерцания. Шаг за шагом, черточка за черточкой, медленно и, казалось, прочно подвигалась работа. Много давалось слишком легко, перед другим представляли непреодолимые трудности. Там и сям сказывались в девушке привычки, наклонности, отсутствие навыка к последовательному мышлению. Часто Тутолмину приходилось довольствоваться ее верою, инстинктивным пониманием, проникновением каким-то. Но помимо этих преград, новый человек вырастал в девушке ясно и неотразимо. Правда, иногда некоторые неожиданности смущали Илью Петровича и заставляли его с тревогой вглядываться в «нового человека», — так бросалась ему в глаза слишком большая вера девушки в его личные

достоинства, слишком восторженное преклонение ее перед его авторитетностью, его превосходством. Но это были смутные тени на поверхности гладкой и прозрачной. Обычно они уступали место какому-то отрадному и горделивому чувству самодовольства, и если оставляли по себе какой-либо след, то лишь в том волнении, сладком и мечтательном, которым переполнялось все существо Тутолмина.

И за этими сладкими ощущениями, за этими речами и наблюдениями своими Илья Петрович как-то незаметно позабыл о существовании своей «памятной книжки». Он уже не спорил с Захаром Иванычем о значении капитализма в России (чему тот был очень рад); он уже записывал песни и бытовые обрядности, которые от времени до времени приносил ему Мокей, с видом какого-то неотступного долга; он не начинал давно задуманного очерка «из быта батраков», — он при первой возможности уходил в дом, в сад и говорил, гулял с Варей, катался с ней по полям. Незаметно для себя, ею одной, ее пленительным образом, всюду его преследовавшим, он

переполнил свое существование.

Что происходило с ней — трудно сказать. Она и сама не знала, какие ощущения заполнили ее душу и придали ее нервам изумительную чуткость. В ней что-то совершалось и зрело с медлительной непрерывностью. Но что? В этом она не могла дать себе отчета. Все окружающее приняло в ее глазах какое-то особое, неизвестное ей дотоле выражение. Слушала ли она соловьиную песню, мелким серебром стоявшую над садом, смотрела ли на вечернее небо, в котором пламенел закат и неясно мерцали звезды, следила ли за полетом жаворонка, в сверкающем трепете взлетавшего к солнцу, гуляла ли по тенистым аллеям сада в сумраке и тишине душистой ночи, — везде преследовала ее какая-то задумчивая и приятная печаль. И особенно она любила даль, замыкавшую необозримые волховские поля. Любила она ее в переливчатом блеске солнечного утра, и в туманных очертаниях знойного полдня, и в зареве заката, жарком и пышном, и в ту пору пасмурной погоды, когда эта даль синела, — синела без конца и своим загадочным простором рвала и терза-

ла душу невыносимой тоскою...

И когда она была одна и ждала обычного появления Тутолмина — беспокойное волнение охватывало ее. Дыхание стеснялось. Сердце билось в надоедливой тревоге... Но появлялся он, и волнение проходило. Без всякого трепета жала она его руки и смотрела ему в лицо и начинала беседу. И все существо ее погружалось в тихое и ясное блаженство.

Книг она почти не читала. Все, что было в них, обыкновенно рассказывал ей Тутолмин. И в его изложении книги эти ложились на ее душу резкими и незабываемыми чертами. Иногда он читал ей. Когда же сама она принималась читать, с нею совершалось что-то странное. Не то чтобы она ощущала скуку или плохо понимала, — нет, но мысли и факты, представляемые книгой, воспринимались ею как-то сухо и недоверчиво. Именно — сухо. Им недоставало какой-то плоти, каких-то живых и привлекательных красок, которые приносило с собою изложение Тутолмина или его чтение, — и они толпились перед ней стройными, но безжизненными колоннами, холодные и черствые, как мертвецы. И книга

выскользала из рук, и взгляд неотступно уходил в глубь сада, где в тени пахучих лип щелкал голосистый соловей и меланхолическая иволга тянула свои переливы...

Иногда ей казалось, что она любит, и тайное опасение закипало в ней. И она представляла его себе близким человеком, мужем... Но какая-то враждебная струя быстро охлаждала ее мечтания, и где-то далеко, в самой глубине души, смутно шевелилось неприязненное чувство. И вслед за этим какая-то досада вставала в ней — она злилась на себя, на свою мечтательность, и — мгновенно воображала Илью Петровича уже не мужем и не близким человеком, а чем-то важным, светозарным, недостижимым.

Раз выдался хороший денек, недавно прошла гроза. Гром еще рокотал в неясных и внушительных раскатах. На дальнем горизонте чернела туча... Но небо очистилось и с веселой ласковостью простирало свежую свою синеву. Солнце сияло. В теплом воздухе, ясном и прозрачном, как хрусталь, стоял крепкий запах березы и тонкое благоухание цветущих

трав расплывалось непрерывными волнами. Листья деревьев, обмытые дождем, блистали кропотливым блистанием и радостно лепетали. Птичьи голоса звенели особенно задорно. Яркая зелень полей и муравы, вспрыснутая влагой, била в глаза мягкостью и сочностью своих тонов. Озеро недвижимо сверкало. Мокрый камыш как будто замер в чутком и осторожном безмолвии.

Варя с Тутолминым прошли сад и вышли на поляну. Кругом расстилалось поле яровой пшеницы. Легкий ветерок ходил вдоль поля голубыми волнами и пригибал к земле молодые стебли. Дальше извивалась река в недвижимом блеске. За рекою вставали холмы и виднелась бледно-зеленая рожь. Проселочная дорога тянулась по ней черною лентою и пропадала в прихотливых зигзагах. Вверх по течению реки открывалась даль. Теперь в ней легкими волнами курились испарения, и солнечные лучи заманчиво трепетали в них... Очертания церквей приветливо сверкали в отдалении. Смутно чернели поселки... Густая зелень кустов резко обозначалась среди полей. В голубой высоте звенел жаворонок.

Варя села на копну сена, и Илья Петрович поместился около нее. Она облокотилась на руку, с которой спустился рукав вышитой малороссийской рубашки, и смотрела вокруг и слушала. Тутолмин читал ей новый очерк знаменитого «народника-беллетриста». Он читал с увлечением, с жаром; он весь отдавался рассказу, в котором ему чудился возврат автора к верованиям и идеалам «почвенников». Он этим рассказом крупного и сильного противника особенно хотел поразить Варю, и особенно оттенить те принципы, которые развивал ей доселе.

А она застыла в жадном и страстном внимании. Но не рассказ знаменитого «народника-беллетриста» слушала она, не картины его суровой и решительной кисти — подобной кисти Репина, возникали перед ней, — она слушала звуки голоса Тутолмина, слушала радостное щебетанье жаворонка, мелькавшего в небе, слушала отдаленный птичий гам, висевший над садом, и унылое кукованье кукушки, притаившейся в ближней роще... И картины какого-то огромного счастья надвигались на нее пленительною вереницей, и

волны изумительного восторга затопляли ее душу.

И все ее существо переполнилось знойным желанием. Она внезапно обвила руками шею Тутолмина, и вся в каком-то изнеможении, трепетном и стыдливом, вся пронизанная какою-то горячей и мелкой дрожью, приникла к его груди. «Люблю тебя...» — прошептала она едва слышно.

Он опустил книгу. «Любишь?..» — в растерянном недоумении произнес он. И вдруг почувствовал, что радостное стеснение перехватило ему дыхание. И до такой степени стали ему ясны теперь и беспокойные тревоги, и сладкие ощущения, волновавшие его душу во все время сближения с Варей, и так невыразимо дорога стала ему эта девушка... Он прикоснулся губами к ее затылку, от которого пахнуло на него тонкими духами, и тихо погладил ее голову. «Дорогая моя, невеста моя», — сказал он. Она подняла лицо и блестящими, радостными глазами посмотрела на него; щеки ее пылали, полуоткрытые губы как бы пересохли от жажды... Тутолмин в умилении смотрел на нее. Прошло несколько

мгновений.

— Мы теперь будем на «ты», да? — слабо прошептала Варя.

— О, непременно! Раз если любишь — разговор короткий, родимая моя, — ответил Илья Петрович.

Варя хотела было спросить: любит ли он ее и как, но не спросила, а тихо отняла руки и положила голову на его плечо. А он, счастливый и безмятежный, начал развивать перед ней свои планы. Она непременно должна ехать в Петербург и слушать лекции на высших курсах. Курсы дадут ей факты — научную основу для ее стремлений, полезные знакомства и связи. Он ездит по деревням, соберет материалы для книги, которую думает написать — «О проявлениях артельного духа в пореформенной деревне, в связи с стойкостью русских общинных идеалов вообще», — а к зиме возвратится в Петербург, и они заживут там на славу. Впереди же... о, впереди масса работы, масса честного и светлого труда — рука об руку с верными «однокашниками», с товарищами, испытанными в лихую и жестокую годину.

Варя слушала его, кивала головкой и улыбалась кроткою и блаженной улыбкой.

Назад они возвращались рука с рукою. Во-круг них болтливо лепетали березы, и нежные липы задумчиво шептались, и гремели неутомонные соловьи; над ними висело побледневшее небо и тихо двигались румяные облака; вдали сквозило голубое озеро и белелась у берега лодка, красивая как игрушка... «Милый мой, поедем на лодке!» — сказала Варя и бегом пустилась к берегу. Илья Петрович последовал за ней. Они отчалили; иловатое дно зашуршало под лодкой. Весла блестели и разносили звенящие брызги... Сад удалялся со своим шумом и с пахучею тенью бесконечных аллей... Купы зеленого камыша медлительно тянулись им навстречу... В прозрачной воде прихотливо извивались водоросли.

Лодка долго плавала по озеру. Она заходила и в молчаливые заводи — кругом которых сторожко и важно стоял частый камыш, и где особенно ясно отдавались удары весел; о корму и мерный всплеск воды. Она приставала и к островам, на которых непроходимой чащею рос гибкий тальник и гнездились дикие утки.

Она приближалась и к тому берегу, над которым в глубокой дремоте стояла рожь и возвышались холмы круглые как купол. Иногда утки, встревоженные ее приближением, тяжело взлетали из камыша и резко крякали. Тогда серебристый смех Вари вторил этой шумной тревоге и долго стоял в воздухе, и весло гремело о корму гулко и часто. А солнце зажигало запад, и небо розовым сводом опрокидывалось над озером. В усадьбе ослепительно блестяли окна. Шпиц колокольни пламенел как свеча. Отражение водяной мельницы стояло в воде ясно и живо. Смутный шум колес меланхолически разносился в чутком воздухе. Откуда-то из-за сада тоскливо тянулась песня.

Заблаговестили к вечерне. Протяжный колокольный гул плавно огласил окрестность и звенящим отзвуком разнесся по воде. И Варя встала во весь рост и, заслонившись ладонью от заходящего солнца, огляделась. И вдруг — и сад с вершинами деревьев, позлащенных закатом, и тихое озеро, и холмистое поле, и усадьба, и крылья английской мельницы, недвижимо распростерты в бледном северном небе, и село, приютившееся под ракета-

ми, и сквозные облака, пронизанные горячим золотом, — все это предстало Варе чем-то важным и внушительным и вместе бесконечно дорогим и бесконечно близким. И она смотрела вокруг широкими глазами, и запоминала, и любовалась, вся охваченная теплою какого-то серьезного и умилительного настроения... А Тутолмин покинул весла и, не сводя восторженного взгляда с лица девушки, залитого розовым сиянием, крепко и значительно сжимал ее руки. Вода неумоимо журчала под кормою и робко плескалась и убежала вьющимися струйками... Ласточки носились над водою.

Алексей Борисович встретил Варю на балконе. Он небрежно разрезывал новую книжку «Nouvelle Revue» и от времени до времени прихлебывал чай, стоявший перед ним на серебряном подносыке. Около него лежали вскрытые письма и целый ворох газет и журналов.

— Что, m-lle, с лапотником на лоне природы услаждались? — с обычной своей усмешкой сказал он, не без удовольствия по-

смотря на девушку. — Что, он не сочинил еще нового «отрывка» о мировом значении артельного мордобоя?

— Ах, как это тебе не надоест, папа, — возразила девушка, — лучше расскажи, что нового, — ведь это почту привезли?

— Что нового! Новости наши вечные. В русских журналах до того все закоулки пропахли мужиком...

— Опять... — с упреком сказала Варя.
Алексей Борисович засмеялся.

— Что делать, милая, никак не могу привыкнуть к мысли, что лапоть парадирует в роли «властителя дум»... Прости!.. Ну что еще, — в газетах обычный трепет и вилянье впере-мешку с намеками на то, чего не ведает никто. Сферы делают мужичку глазки, что, однако, не особенно должно беспокоить нашего брата плантатора... Потом обычные пейзажи — воровство, кражи, казнокрадства, похищения, растраты... Ах, моя прелесть, что же и делать со скуки благородным россиянам — не кобелей же в самом деле топить... Pardon, — поправился он в скобках, но тотчас же с лукавством добавил: — Ты, впрочем, вероятно,

привыкла к народным выражениям...

— Опять... — повторила Варя.

— Прости, прости... забываю, что ты еще не *обнародилась* до похвальбы грязными манжетками...

— Папа!

— Ну что еще... Много получил писем. Из Петербурга все больше точки и остервенелые доносы на скуку. Впрочем, Фонтанка воняет по-прежнему. В заграничных — жалуются на курсы и на кухню. Представь себе, подлецы немцы — до того онаглели, даже на желудки наши покушаются! Вот пишет Савельев из Карлсбада: «...Когда приходит время обеда — меня начинает тошнить: так все скверно готовят и баснословно дерут; например, за биф-стекс (1/3 нашего) 1 fl. 60 kr., что составит по курсу 1 р. 36 к., и тот вареный на бульоне, чтобы не жарить его в масле, из экономии; — к нему картофель жаренный в сале, по 5 крейцеров за штуку; яйцо — от 6 до 8 крейцеров за штуку; булочка в два глотка — два крейцера: по крейцеру за глоток»... и так далее. Каково!.. Скоро, кажется, до того дойдем — Европа нас в лакейскую не будет допускать!.. Ну что

еще... Ну, разумеется, по курортам различные Балалайкины шныряют, или как там у Щедрина?.. Ах, да!.. Вот... — и он с живостью взял листочек с графской коронкой. — Ты помнишь своего кузена, Мишу Облепищева? Графа Облепищева?

— А, — быстро отозвалась Варя, — ну, конечно, помню: он такой милый.

— Так вот он пишет. Просит позволить приехать ему погостить в Волхонку с товарищем, с каким-то Лукавиным. Не помню, — в недоумении промолвил Алексей Борисович, — какой это Лукавин. Пишет: «Представляет из себя возникающую лозу, упитанную миллионами, но за всем тем — мил и благороден».

— Лукавин... Знакомая фамилия...

— Ах, ты думаешь, что это... известный? Может быть. Но в таком случае это его сын. Посмотрим сей отпрыск лаптя, оправленного в золото...

— Но... ты думаешь его пригласить?

— Отчего же? Дом велик. А если ты затрудняешься ролью хозяйки и вообще забыла некоторые наши «барские» привычки и «при-

обыкла» к иным... так я тебе «Хороший тон» от господина Гоппе выпишу.

Варя невольно рассмеялась.

— Приглашай, приглашай, — сказала она.

— А ты совершенно забросила музыку, — уже серьезно заметил Волхонский, — хотя бы «бычка» изучала под руководством господина... как бишь его?.. Ведь ты помнишь Мишеля — он без музыки жить не может.

— Надо рояль настроить, папа.

Алексей Борисович сейчас же распорядился послать в город за настройщиком.

Варя прошла к себе и, не снимая шляпы, села у окна. Сладкий запах сирени доходил до нее. На сад ложились тени. В кустах бузины щебетала малиновка.

Варя думала о своем кузене. «Каков-то он теперь?» — думала она и с удовольствием вспомнила время своего сближения с ним. Ей было тогда тринадцать лет. А он был такой тоненький и хрупкий и грациозный в своем пажеском мундире. Одно время он был влюблен в нее. Но это прошло быстро и незаметно. Истинной его любовью пользовалась только одна музыка. За роялью он забывал все на

свете... Но, однако же, никогда она не забудет одной прогулки. Ей и теперь мерещится иногда зимняя лунная ночь с крепким морозом, необыкновенно высокое синее небо, простертое над бесконечными снегами, мелкое сверканье инея на сугробах, протяжный визг полозьев, заунывный звон колокольчика, медленно замирающий в сумрачной дали... Вместе с Мишей и бабушкой (той самой, которая и до сих пор отстаивает аракчеевские порядки, а Алексея Борисовича иначе не называет как фармазоном) они устроили этот пикник в одну из рождественских ночей. Варя и теперь помнит, как близко сидел около нее румяный Мишель, и как горячо соприкасались их ноги, и как острая струя морозного воздуха веяла ей в лицо, а на душе было свежо и грустно. Позади голубым блеском светились колокольни губернского города и смутно замирал городской шум...

Вдруг она очнулась и мгновенно вспомнила сцену на поляне. Она живо вообразила себе и небо, и даль, и песню жаворонка, и лепет берез, пронизанных заходящим солнцем, и румяные облака... Но сердце ее билось ровно,

и образ Туттолмина в каком-то тумане возник перед нею. И странное чувство какой-то неудовлетворенности робко шевельнулось в ней.

IX

— Ну, как твои «одры»? — спросил однажды Захара Иваныча Тутолмин.

— Какие одры?

— Ну эти, как их там... плуга-то твои?

Захар Иваныч усмехнулся.

— Да идут себе, — сказал он не без гордости.

— Идут? — в удивлении протянул Илья Петрович. — И Пантешка пашет?

— И Пантешка пашет.

— И пласт не раскидывается?

— И пласт не раскидывается.

— Чудеса! Что же ты со всем этим натворил, буржуй окаянный?

— Ничего не натворил. А лемеха установил; рабочим назначил премию; вместо щепок топлю антрацитом...

— И идет? — недоверчиво произнес Тутолмин.

— И идет.

Илья Петрович с неудовольствием прикусил губы.

— Ну, этим ты погоди важничать, —

немного спустя промолвил он, — плут-то, может быть, у тебя и пашет, а уж в общем ты оборвешься, буржуй! Как ни вертись, а мужик тебя слопает.

В это время Захару Иванычу подали лошадь.

— Да чего лучше, — сказал он, вставая и снисходительно посмеиваясь, — поедем со мной в поле, поглядишь, как хлеба у меня растут на возделанных нивах; как твой «каменный» мужик мягко с орудиями «капиталистического производства» обращается... Поедем!

Илья Петрович согласился.

И куда они ни приезжали, отовсюду веяло порядком и удачей. Озимая пшеница, рассеянная механическим способом, по земле, удобренной компостом и семенами, отобранными на машине, буйно и внушительно волновалась темными волнами. Из густо-зеленых ее перьев выметывался белый и жирный колос. Рожь превосходила рост человеческий. Она была в полном цвету и вместе с запахом, подобным запаху спирта, разливала в воздухе волнообразный палевый туман. Затем они

осмотрели яровые. Синяя пшеница была чиста и высока. Просо отливало сочной и яркой зеленью. Турнепс и картофель заплоняли нивы шероховатой и грубой листвою.

Захар Иваныч радостными глазами осматривал поля.

— Тут прежде сеяли рожь, — говорил он, указывая на озимую пшеницу, — и продавали ее три с полтиной четверть. А я в прошлом году с этого поля пшеницу продал по шестнадцати рублей!.. На сем месте испокон веку овсы произрастали, — продолжал он, приближаясь к яровой пшенице, — пшеницу же сеяли и бросили: не рожалась. У меня она второй год родится; а цена ей — пятнадцать рублей!.. Турнепсом быков кормлю, — рассказывал он далее. — Картофель на винокуренный завод поставляю: важно берут с тех пор, как немцы рожь стали вывозить. Просо на пшено переделываю — локомобили зимою-то свободны, я их и приспособляю к рушке. Толку на водяной!..

— Эка у тебя нутро-то играет! — насмешливо заметил Тутолмин, поглядев на Захара Иваныча.

— Друг! С чего ему не играть-то; результаты вижу!

— Так. А ты, буржуй, здорово отупел. Ну какие же это к лешему результаты?

— А что же?

— Иллюзии.

— Какие такие иллюзии?

— А такие. Талан свой зарываешь в землю — злаки-то и прут оттуда как оглашенные. А все-таки талант в земле, — подчеркнул он.

— Как в земле? — в некоторой обиде вымолвил Захар Иваныч.

— Как? Очень просто. Кому какое дело, что у тебя быки турнепс лопают? Разве Дациаро лишнюю копейку зашибет. А Влас Карявый с того не просветлеет...

— Ой ли! А ежели просветлеет... А если волхонские мужики у меня уж два рансомовских плуга купили?

— В долг?

— Да уж там как ни купили... — уклончиво возразил Захар Иваныч.

— Нет, это не все равно, — горячо промолвил Тутолмин, — на филантропии никакой прогресс еще не двигался.

— Да не в филантропии дело, Илья, — мягко сказал Захар Иваныч, — дело в том, что потребности просыпаются. Привычки к новым приспособлениям...

— Значит, «обобществлять» труд изволите?..

— Значит.

— Любопытно, — пробормотал Илья Петрович.

Затем через степь они проехали на пашню. Трава была уже скошена, и бесчисленные стога важно возвышались своими конусообразными вершинами. Но отава не расходилась обычными подрядьями и не лезла в глаза неизбежными клочками плохо скошенной травы, а отливала гладкой скатертью, красиво испещренной мелкой и четкой рябью. Захар Иваныч даже лошадь остановил. — Смотри, Илья, до чего прелестно работают косилки! — воскликнул он, блаженно улыбаясь.

А впереди смачно чернелась пашня. Они въехали в нее. Колеса мягко утонули в рыхлых пластах, и дрожки закачались как в люльке. «Каково!» — вымолвил Захар Иваныч. Навстречу им тянулись плуга. Длинные

вереницы быков важно переступали вдоль загона, медлительно пережевывая на ходу свою жвачку. Погонщики хлопали кнутами и кричали: «Цабе, цабе...», «Цоб, дьявол тебя обдери!»

Когда Захар Иваныч подъедал к заднему плугу, тот остановился. «Помогай бог!» — произнес Захар Иваныч. Плугарь поклонился. «Эх, плуга, пес ее побери!» — сказал он, и все лицо его, темное от грязи и пота, изъявило удовольствие.

— Хороша? — улыбаясь, спросил Захар Иваныч.

— Больно хороша, окаянная, — живая!.. Только я что думаю, Захар Иваныч (в это время подошли и другие плугари), что мы, мужики, думаем, — и он закопошился над плугом, — взять бы теперь, к примеру, этот отрез, и ежели б на него связочку поаккуратней... А то видишь ручка-то у него круглая, чуть что попадается ему навстречу, он и вертится в связке-то... Мы и то клинушки в нее продеваем... (Действительно, около всех «отрезов» виднелись клинушки.)

— Да ведь тут винт есть!

— Есть. Есть-то он есть, а державы в нем нетути. Ты гляди — как ее, круглую вещь, винту содержать?.. Никак ее содержать невозможно. Немец-то хитер, а тут, прямо надо сказать, опростоволосился.

— Може, у них земли мягкие, — снисходительно заметили другие, — пусти-ка ты ее в огород, она и у тебя без клиньев будет ходить.

И Захар Иваныч, с широкой улыбкой на сияющем лице, согласился, что точно, для наших земель отрез нужно переладить. Восхищался и Тутолмин этой сообразительностью мужиков:

— Ведь ежели бы им в общину эти плуга, — они бы закопались в жите! — воскликнул он и тут же спросил Захара Иваныча: — А ты те-то два плуга — в мир продал?

— Нет, хозяйственным мужичкам.

Илья Петрович гневно посмотрел на него.

— Скотина ты, — решительно сказал он.

— Да не берут в мир-то; что ты с ними поделаешь... — оправдывался Захар Иваныч.

Но Тутолмин не верил.

— Оттого и не берут, что совесть у тебя, у буржуя, не чиста, — ворчал он, — видят, не

ихний ты слуга, а барский, и не берут. К подвохам-то к нашим пора и привыкнуть: века обучались!

Паровой плуг тоже работал великолепно. Пантешка несколько утратил развязность своих манер и был уже в синей, а не в красной рубаше. Но тут Захар Иваныч все-таки нашел беспорядок: пары были подняты до 115 фунтов, между тем как уже 90 отмечалось на манометре красной черточкой. Локомотивы глухо ворчали и дрожали как в лихорадке.

— Что вы делаете! — в отчаянии закричал Захар Иваныч, — ведь третий раз вас ловлю... Ей-богу, штрафовать буду... Ведь ваших и костей-то здесь не разыщешь!

Машинист пасмурно хмурил брови и ругался на кочегаров. Кочегары сваливали вину на пылкий уголь...

— Да чего это они? — любопытствовал Илья Петрович, когда плуг остался далеко позади.

— Вся беда в премии и в лени, — сказал огорченный Захар Иваныч, — с большим паром плуг успешней работает, и, следовательно, для них выгодней; а для лени опять-таки

способнее, меньше забот с топливом.

— Да разве они не знают, что эта игра может скверно кончиться?

— Лучше нас с тобой. Да что ты поделаешь с этими отвратительными российскими свойствами!.. Тот же кочегар Труфлий — это шершавенький-то — ужасный трусишка, и как-то на днях его ни за что не уговорили идти ночью рыбу ловить. Там, видишь ли, «водяной» его слопаёт!.. Здесь же ежечасно взрыв может последовать, а он сидит около топки да в рубахе блох ищет!.. Изумительнейшие чудачки!

— А где Мокей? — вдруг вспомнил Тутолмин. — Я его недели две не вижу.

— Эге! Мокей давно уж восвоясях.

— Опять ушел?

— И деньги вперед забрал.

— Тоже чирий вскочил?

— Нет; говорит, жена умирает. Может, и правда. В селе действительно ходит горячка.

— Что же, есть помощь? Есть доктор? — встрепенулся Тутолмин, и вдруг какое-то жгучее ощущение стыда хлынуло на него неукротимыми волнами.

— За доктором два раза уже посылал.

Фельдшер приезжал, ходил по избам...

— Да что же это... да как же ты... — заволновался Илья Петрович.

— Да я-то что поделаю? Я и узнал-то только четвертый день.

— Нет, хорош я!.. — с горечью произнес Тутолмин. — Люди издыхают как собаки — без помощи, без света, в грязи, в гное, а я... — и он не мог договорить от душившего его волнения.

— Да беда вовсе не такая страшная... Ты напрасно волнуешься, Илья, — говорил Захар Иваныч, с участием заглядывая в лицо Тутолмина, — еще никто и не думал умирать. И каждое лето в это время народ болеет...

— Каждое лето! — с негодованием воскликнул Тутолмин. — Если каждое лето болеет — объясним законом, придумаем формулу и успокоимся... И успокоимся?.. Каждое лето!.. Да что же это такое, Захар? Да ужели же так легко обратиться у нас в подлеца?.. Да ужели же... Ах, проклятые нервы! — спохватился он, весь охваченный дрожью.

Дома его ожидал изящный конвертик с мо-

нограммой, увенчанной темно-синей короной. Он в досаде разорвал его и прочитал записку. «Дорогой мой! — писала Варя. — Скучно мне без тебя; не мил мне без тебя этот сухой господин Постников!.. Приходи, скучно, жду. Твоя В.»

Злоба закипела в Тутолмине.

«У нас под боком люди околевают, драгоценная барышня, — писал он ей в ответ, — а мы, — благодаря терпким горбам этих людей получившие возможность корежиться в миндальных мечтаниях, — толчем розовую воду и смакуем книжки. Не приду я к Вам. Илья Тутолмин».

В postscriptum'e [5] значилось: «В селе горячка. Крестьяне умирают без малейшей помощи».

Но не успел еще Илья Петрович, отославши записку, несколько успокоиться, и не успел он натянуть сверх старенькой своей блузы неизменное куцее пальтишко, как в дверях неожиданно появилась Варя. Она была в своем малороссийском костюме, и простенький платок покрывал ее голову. В левой

руке она держала битком набитую корзинку. Лицо ее было бледно и встревожено.

— Пойдем же скорее, — торопливо сказала она.

— Куда? — в удивлении спросил Тутолмин.

— Как куда! Туда, где болят, где нуждаются в помощи.

Радостное умиление охватило Илью Петровича.

— Славная ты моя, — вымолвил он, с любовью поглядев на возбужденное личико девушки. — Что же у тебя в корзинке?

Она застенчиво приподняла салфетку, закрывавшую корзину.

— Булки тут, — нерешительно сказал она, — бисквиты, варенье, пирожки...

Тутолмин рассмеялся.

— Не подходит, моя родимая, — ласково произнес он. — А уксус взяла? А чай, сахар, лимоны, вино?

— Не догадалась, — прошептала девушка.

— Ну, это мы все достанем, — и он с веселой поспешностью начал рыться в буфете.

Когда они вышли, Варя с опасением оглянулась.

— Ты знаешь, — сказала она, — папа ужасно мне надоедает своим глумлением. Я не хочу, чтоб он знал о моем путешествии. — И они глухой дорожкой, минуя усадьбу, прошли в село.

Х

На порядке было пусто. Только среди улицы тоскливо бродили куры да в тени пыльных ракиг отчаянно зевала какая-то Жучка, истомившаяся в непроходимой скуке.

— Где же народ? — спросила Варя, удивленная этой пустынностью села.

— Пар мечут; проса полят, у иных покос еще не отошел. А может, и болеют многие, — ответил Тутолмин, которого при входе в деревню охватило строгое и унылое настроение.

Наконец у кузницы они набрали на толпу. Девчонки сидели в кружок и, наблюдая за крошечными своими братишками и сестренками, играли «в камешки». Но только лишь они заметили «господ», как тотчас же схватились с места и пустились врассыпную. Более маленькие подняли крик. Одна девочка, впрочем, осталась. Она крепко зажала в колени беловолосого мальчугана с лицом, вымазанным кашей, и смело смотрела на подхлывших «господ».

— Ты, девка, чья? — спросил ее Илья Пет-

рович, и лицо его сразу сделалось добродушным.

— Мамкина.

— А мамка твоя чья?

— Батькина.

— Хорошо. А сколько тебе годов?

— Семей.

— А зовут тебя как?

— Лушкой.

Разбежавшиеся девчонки стояли в отдалении и перешептывались. Иные из них нерешительной поступью приближались к Лушке, крик унялся.

— А пряника хочешь? — спросила Варя. Лушка подумала.

— Нет, — сказала она, быстро мотнув головой.

— Отчего? — удивилась девушка и в недоумении посмотрела на Тутолмина.

— Ты, ну-ко, испортишь.

Варя рассмеялась.

— Это кто же тебе рассказывал, что можно испортить? — спросила она.

— Мамка сказывала.

— Ты знаешь, где Мокей живет? — вме-

шался Илья Петрович.

Лушка похлопала глазами и ничего не ответила.

— Мокей, который на барском дворе жил, — подчеркивая каждое слово, повторил Тутолмин. — Мокей — ямщик.

— Шильник! — живо воскликнула девочка.

— Ну, стало быть, «шильник» — с усмешкой согласился, Тутолмин.

Лушка тотчас же указала на Мокеев двор.

По уходе «господ» девчонки быстро собрались в кучку и горячо стали рассуждать о происшествии. Больше всех размахивала руками Лушка. Но они не побежали вслед за «господами» и не стали кричать и выказывать запоздалое молодечество, как то сделали бы мальчишки, а с преувеличенной развязностью сели в кружок и степенно заорали:

*Я по тра-а-вке шла
По мура-а-вке шла,
Чижало несла,
Чижалехонько!
Чижа-а-лехонька,
Жэлу-у-бнехонька.*

*Жалубней тово
Девка плакала!
Па сва-а-ем дружску,
Па Ива-а-нушке —
У Иванушки
На головушки
Вились кудрюшки!..*

— Что это значит, что девочка говорила о порче? — спросила Варя, когда они подошли к Мокеевой избе. Но Тутолмин не ответил. Глубокая морщина лежала у него над бровями.

Они вошли в сени. Там никого не было. Илья Петрович отворил дверь в избу: оттуда пахнул на них удушливый и прелый запах да неясный стон послышался... «Где же Мокей?» — в недоумении произнес Тутолмин. Вдруг со двора донесся до них дробный звук отбиваемой косы. «Мокей, где ты?» — закричал Тутолмин и пошел на двор. Варя с каким-то чувством страха и вместе наивного любопытства последовала за ним. Мокей сидел на пороге клетки и отбивал косу. Он очень удивился гостям и как будто сконфузился. Варя тоже испытывала смущение.

— Ну, что баба? — осведомился Илья Петрович.

— Баба-то?.. — рассеянно отозвался Мокей и вдруг, суетливо откладывая косу, произнес с искательной улыбкой: — А песенки я вам, барин, важные заучил... кхе, кхе... сказать?

— Какие песни! — сурово промолвил Туттолмин. — Ты бабу-то покажи... Что у ней, горячка, что ль?

— Ах уж эта баба мне, — плаксиво воскликнул Мокей, — руки она мне все повязала, эта баба... Теперь бы у Захар Иваныча жить, а я вот... — и он беспомощно развел руками.

— Она где у тебя? — с участием спросила Варя, в глазах которой заблестели слезы.

— В избе она... да что! — он махнул рукою. — Измучила лихоманка.

— Проведи нас к ней.

— Хе, хе, грязновато быдто у нас, барышня... Не ровён час, ножки...

Но Варя решительно направилась к избе. Она отворила дверь, ступила на высокий порог и... отшатнулась. Воздух, удушливый и тяжкий, поразил ее. Но ей тотчас же сделалось стыдно своей слабости. Она вошла. В из-

бе было темно: на зеленоватых стеклах единственного оконца черным роем кишели мухи. Под ногами ощущалась сырость. Пахло печеным хлебом и острым запахом аммиака. Жара стояла нестерпимая. По столу важно расхаживали тараканы.

Вдруг слабое всхлипывание ребенка слышалось, затем глубокий кашель, стон... Варю с ног до головы пронизала холодная дрожь. В глазах у ней потемнело... Но она скрепилась и пошла в глубину избы. Больная лежала на нарах растерзанная и худая. Неподалеку от ней висела люлька, прикрытая грязными отрепьями. Оттуда невыносимо пахло. Варя приложила руку ко лбу больной. Он был раскален. В висках беспокойно билась кровь. Все лицо покрыто было потом. «Испить бы...» — прохрипела больная и попыталась вздохнуть. Кашель коротким и сухим стоном вылетел из горла. Она поднесла ко рту руку... На пальцах заалела кровь. Варя слабо вскрикнула. Илья Петрович подбежал к ней. Она в немом ужасе указала ему на больную. А Мокей суетился около люльки.

— Эка! — с неудовольствием бормотал он,

неловко делая соску из хлеба. — Нишкни! Нишкни!.. Он-те, барин-то, он-те!.. — И замечал в скобках тоном подобострастным и мягким: — Хе, хе, говорил я, грязновато... говорил... Ишь у нас удобьи-то!.. У нас не токмо — и в хлеву-то у вашей милости чище... Мы разве понимаем что?.. — И добавил с презрением: — Сказано — мужик! — А потом подошел к жене: — Эка, эка... — зашептал он, заботливо и торопливо прикрывая ее распахнутую грудь. — Эко-ся... Овдоть!.. Овдотья... привстань-ко малость... привстань! Господа вот пришли... привстань, матушка.

— Да не трогай ее, — сердито произнес Туттолмин. — Что это, она кровью кашляет?

— Кровь, — ответил Мокей и вдруг заспешил: — Есть, это есть... как с весны ноне, так краска эта и пошла!.. Иной раз как тебе... Иной раз вот как шибанет!

— И лихоманка?

— И лихоманка. Так тебе трясет, так... беда!.. А то еще водопой теперь... Страсть как одолевает водопой. Я и то говорю Захар Иванычу: «Захар Иваныч! Кабы не жена, я тебе не токмо что...».

Ребенок опять запищал беспомощно и жалко. Мокей поспешил к нему.

— Чахотка у ней, — угрюмо сказал Тутолмин, обращаясь к Варю. А Варю точно кольнуло что. Она бессознательно прислонилась к печке и вся затрепетала, потрясаемая рыданиями. Слезы ручьями обливали ее лицо. Сердце мучительно разрывалось... Илья Петрович вывел ее в сени, дал воды... Но горькие спазмы душили ее и трепет не утихал. Иногда она переставала плакать, сердце у ней уж застывало в какой-то каменной и тоскливой неподвижности... Как вдруг раздирающий кашель доносился до нее, и горе закипало в ней неукротимым ключом, и снова рыдала она в невыносимой муке, и снова сжимала свою голову, и ломала руки, и дрожала, охваченная ужасом...

А Мокей даже развеселился, ухаживая за барышней. «Эк ее разрывает, эка, — думал он, — то-то бы в хоромах-то сидела!» — и усердно таскал воду.

Наконец Варя успокоилась. Ее только изредка пожимал озноб, да сердце у ней ныло и болело сосущею болью. Тутолмин дал Мокею

кое-что из припасов, посоветовал перенести больную в клеть и спросил:

— Да где же у тебя семейские?

— Разбрелись кой-куда, — ответил Мокей. — Матушка со снохой просо полют; брат на покосе; ребятенки скотину стерегут... Кой-куда! — И с веселой усмешкой добавил: — Так как же насчет песни-то?..

— После, после, — промолвил Тутолмин, и они двинулись далее.

В редком дворе не было больных. Иные лежали в избе, в тяжелой духоте и затхлости, облепленные мухами, изнывающие в неутолимой жажде... Другие задыхались в клетях, под тулупами и зипунами. Попадались и такие, что через силу ходили, странно и неуверенно колеблясь на слабых ногах, или сидели где-нибудь на пороге клетки, задыхаясь в пароксизме и беспрестанно поникая от мучительной головной боли... Своими движениями они напоминали отравленных мух. Лица их были желтые и влажные. Мутные глаза смотрели тоскливо. Из полуоткрытого рта вырывались сдержанные стоны...

Но все-таки слухи были преувеличены. Го-

рячки не было. Была какая-то чудная лихорадка, в ознобе доходившая до смертельного холода, а в жару сопровождаемая бредом и бесконечной жаждой.

Варя раздавала припасы, делала кислое питье, прикасалась своей нежной ладонью к пылающим лицам, и все спешила куда-то с неловкой торопливостью, да в смущении озиралась по сторонам и смотрела на невиданную обстановку с каким-то недоумевающим любопытством. Больным она обещала завтра же прислать хины (и, странное дело, это слово «прислать», сказанное девушкой, видимо, без всякой задней мысли, как-то нехорошо подействовало на Илью Петровича).

Они возвращались поздно. Солнце уже закатилось. В село пригнали стадо. Народ понемногу появлялся среди улицы. Янтарные облака таяли и в причудливых очертаниях толпились над закатом. Ветер спал. Ласточки весело щебетали. Где-то вдали гремела телега. С полей доносился теплый запах цветущей ржи. В воздухе гудел шмель, точно басовая струна гитары... Но они шли молча и в печальной задумчивости. Варя испытывала

усталость. Нервы ее были как-то странно утомлены. В голове стояла мутная туча. Черты измученного и бледного лица были строги и неприязненны.

Она тихо прошла через заднее крыльцо. В комнате Надежды слышались голоса.

— Смотри же, Лукьян, — говорила Надежда, — ты уж постарайся для гостей-то.

— Оно отчего не постараться, — грустным басом ответил повар Лукьян, — постараться мы всегда можем, Надежда Аверьяновна... Стараньи-то только наши — вроде как подлость от них одна!

Надежда вздрогнула и ничего не ответила.

— Теперь притащится эта гольтепа, например, — медлительно продолжал Лукьян, видимо поощренный сочувственным вздохом Надежды, — и вдруг я этой самой гольтепе подам соус сен-менегу, и вдруг они этот самый соус стрескают, например... Какое же у него, у гольтепы, понятие, чтобы насчет соуса, а?.. Что ни говори, оно, матушка, больно, Надежда Аверьяновна.

Надежда вздохнула еще глубже, но опять

ничего не ответила.

— Аль опять соус кырпадин приготовить, — сдерживая негодование, говорил Лукьян: — Мы это можем, Надежда Аверьяновна!.. Мы это все можем: слава богу, в аглицком клубе воспитывались... Только каким же теперича манером гольтепа этот самый кырпадин слопает?.. Обидно-с!

— Нет, уж ты постарайся, — произнесла Надежда, — их сиятельство припожалуют. А уж с ним и не скажу тебе кто — миллионщик какой-то.

— О, господи, — в преизбытке усердия воскликнул повар, — аль мы не понимаем, Надежда Аверьяновна! Ужели мы не понимаем — ежели граф аль миллионщик какой-нибудь, к примеру, и — вдруг гольтепа в сапожищах... Очень мы это понимаем! — и добавил с грустью: — А!.. Времена!.. Бывалоче, какой управитель Исай Дормедонч, — может, сколько народу от него пострадало, — и тот — стоит себе, бывалоче, у притолки да за спинкой суставчиками перебирает... А барин-то кричит да гневается, да подойдет, подойдет эдак: «Дышать не смей, такой сякой анафем-

ский сын!» Вот оно что было. А теперь! Не токмо сам, например, за один стол, да и хлебника-то своего гольтепу тащит... Обидно, Надежда Аверьяновна!

У Вари даже не нашлось сил улыбнуться. Только какой-то стыд за Илью Петровича слабо шевельнулся в ней и замер... Она прошла на балкон. Алексей Борисович читал с лампой и сидел сумрачный и недовольный.

— Облепищев прислал телеграмму, — сухо сказал он. — Завтра приедут. — И, немного помолчав, добавил: — Тебе приятно будет, если всякая canaille[6] будет указывать на тебя пальцами?

— Почему, папа? — равнодушно спросила Варя. Алексей Борисович пожал плечами.

— Вы ужасно наивны, m-lle, — сказал он. — Я думал, что только в институтах выделывают девиц, воображающих, что французские булки прямо на нивах родятся...

— Но что такое?

— Как «что такое»! — вспылил Волхонский. — Сегодня мне с такой гадкой осторожностью заявил кучер Никитка, что ты направилась в село с этим... как бишь его?.. Милая

мая, если après nous le déluge[7],— что, в сущности, и справедливо, — то пока мы живы-то — не déluge, и потому никаких нет резоннов, чтоб различные хамы пальцами па нас указывали. Мы не в долине Баттюэков, и не в Белой Арапии. Ты знаешь мои мнения: свобода во всем. Но надеюсь, ты не заставишь же меня краснеть от кучерских намеков. Это, впрочем, между строк, — мягко добавил он.

Варя повернулась и пошла к себе наверх. Сердце у ней как будто закаменело. Но она чувствовала себя глубоко несчастной. И это чувство как будто поднимало ее в собственных глазах. Она даже выпрямилась с холодной гордостью и сложила губы в надменную усмешку. И в то же время мысль о m-me Roland с быстротою молнии промелькнула в ней. Но она вспомнила, что Тутолмин как-то с пренебрежением отзывался о m-me Roland, и ей сделалось досадно.

А за ее плечами все стоял какой-то кошмар и темными крыльями веял на нее и от времени до времени обнимал ее судорожной дрожью.

XI

На другой день Варя получила от Тутолмина записку, в которой он извещал ее, что «сам едет разыскивать упорно не являющегося доктора». «Вот это отлично!» — подумала девушка и вздохнула облегченным вздохом. Она взяла книгу и отправилась на балкон, но ей не читалось... Что-то мрачное и холодное стояло в ней и отвратительно влияло на расположение ее духа. Она знала, что это следствие вчерашних посещений и что стоит ей только дать волю своему воображению, как ужасные подробности этих посещений встанут перед ней с неумолимой яркостью. Она знала это и... упорно отгоняла тоскливые картины, спутывала их настойчиво возникавшие очертания, старалась уйти от них, одолеваемая неясным страхом.

День был сухой и знойный. Раскаленное солнце светило в каком-то тумане. Горячий ветер подымал шум в деревьях и волновал поверхность озера. В небесах, как птицы, неслись суровые облака. На пыльных дорогах от времени до времени ходили вихри.

Варя нетерпеливо вскочила и позвала проходившую Надежду. «Приказать оседлать Домби!» — повелительно сказала она, невольно припоминая вчерашний разговор ее с Лукьяном. Надежда произнесла: «Слушаюсь», — и проворно побежала в лакейскую. «Видно, взялась за ум-то, графа поджидаячи», — с тайной радостью думала она, смакуя повелительный тон Вари.

А между тем Варя совершенно забыла о графе. Она села на Домби и поехала садом. Березы и липы тревожно шумели над нею. Горячий ветер бил ей в лицо. В кустах орешника робко звенела малиновка. Смелая синица взлетала по верхушкам, и ее резкий писк отдавался металлической жесткостью. Где-то иволга прокричала кошкой... Домби всхрапывал и осторожно переступал по аллее.

А Варя сидела в седле недвижимая и немая. Какие-то обрывки туманных дум носились в ее голове. Иногда светлая полоса неожиданно вторгалась и согревала ее душу — вспоминалась встреча с Тутолминым за ольховой рощей, сцена на поляне, катанье на лодке, озеро, залитое кротким сиянием зари...

Но полосу снова сменяло мрачное и холодное настроение, и снова томительные картины неотступно теснились в ее голове. И она снова упрямо отгоняла их, убегала от них с боязнью и тоскою... И вдруг, как иногда часто бывает, знакомое слово попало ей на язык. «Корезиться! — произнесла она, вспоминая записку Тутолмина. — Что это значит?.. Это, должно быть, кривляться, ломаться... — И повторила, неприязненно подчеркивая: — *Корезиться в миндальных мечтаниях!..*» И горькое чувство обиды засочилось в ней разъедающей стружкой. Она заплакала.

Вдруг ветер затрепетал в березах, как пойманная птица, и пронзительно загудел. Домби заржал внушительно и тихо. Варя огляделась: через вершины деревьев сквозило угрюмое небо; солнце погасло. С озера веяло холодом. Слезы Вари мгновенно высохли. Она быстро миновала сад и выехала в поле. Кругом расстилался необозримый простор. Нивы шумели и расходились пасмурными волнами. Зловещие тени легли на них. Тучи курились туманными клубами и поспешно надвигались на Волхонку. В отдалении неясно роко-

тал гром. Перепела тревожно кричали. Треск коростеля в ближней лощине то относился, то приносился ветром. Шум сада стоял в ушах Вари глухо и страшно. Бурный ветер трепал ленты ее шляпы.

А она чувствовала какое-то странное удовлетворение в этом жутком приближении грозы. Она поставила Домби в упор ветру и широко раскрытыми глазами смотрела, как тучи ширились и чернели и багровая молния все чаще и чаще разрывала их недра... Внутренний ее мир как будто закрылся для нее; и только какая-то преобладающая струна звучала в нем трагической и суровой нотой, и этот непрерывный звук как-то странно совпадал с теми звуками, которые слышались ей и в грозном рокотании грома, и в шуме сада, диком и внушительном, и в пугливом шепоте беспредельных нив... И она внезапно вспомнила картину Доре, фотографию с которой Гупиль недавно прислал Алексею Борисовичу. Среди бесчисленной толпы, охваченной каким-то исступленным энтузиазмом и кричащей, шла женщина во фригийской шапке. Она в диком упоении грозила мечом и пела,

буйно потрясая знаменем. Вдали крутился мрак, вставало злое зарево, угрюмо чернелись башни... Потом снова деревенские впечатления хлынули на нее... Но теперь они уже свободно заполнили ее восторженное воображение. И уже не с серенькими и мелочными подробностями предстали они, — далекое зарево пожара освещало их пламенным и грозным светом, и они величественным апофеозом воздвигались перед Варей, и охватывали ее душу бесконечным и блаженным ужасом... Вдруг крупные капли дождя тяжело шлепнулись на нее. Домби беспокоило шевельнул ушами. Молния загорелась синим огнем и скользнула ослепительно... И небо разорвалось, вспыхнуло, смешалось в мутном беспорядке. Варю оглушил невыносимый треск. Ей казалось, тучи обрушились на нее. Она ударила Домби хлыстом и понеслась к саду. Дождь барабанил по листьям и как будто гнался за ней. Деревья пугливо кивали ветвями.

Она заехала в покинутый курень, где прежде обитали садовники, и переждала в нем грозу.

После грозы погода изумительно похорошела. В ясном небе медлительно бродили серебряные облака. Озеро синело и тихо плескалось. Деревья весело лепетали. Влажный блеск листьев мелькал четким бисером. В воздухе носился теплый и свежий запах сена, смешанный с лекарственным ароматом липовых цветов. Птицы встрепенулись и переполняли аллеи звонким щебетаньем.

И на душе у Вари прояснилось. Недавнее возбуждение покинуло ее. Нервы улеглись... Воображение поникло. Она снова поехала в поле, посмотрела на сочные нивы, беззаботно игравшие с ласковым ветром, дозволила Домби сорвать жирный пук пшеницы, который он, однако же, тотчас же и бросил, проследила глазами голубой извив реки, обвела дали пристальным и каким-то деловым взглядом и возвратилась к усадьбе. Не доезжая дома, ее поразили звуки рояли. Они неслись откуда-то с вышины и, казалось, толпились в сверкающей синеве ясным и грациозным хороводом. И на душе у ней стало еще светлей и еще безмятежнее. «Откуда это» — произнесла она, как вдруг угадала пьесу — одну из серенад

Шуберта — и догадалась, кто играет. «Это, конечно, Мишель!» — воскликнула она с сияющими глазами и поспешила к подъезду.

Наверху ее встретила Надежда. Лик ее был переполнен торжественностью и движения приобрели какую-то особливую важность: «Их сиятельство пожаловали. Прикажете одеваться?» — сказала она. Варя оделась быстро и просто. Ей все поскорее хотелось сойти вниз и посмотреть Облепищева. «Каков-то он?» — думала она с любопытством, и картины рождественского катанья привлекательными обрывками возникали в ее памяти.

— Кузина! — раздался певучий и мягкий голос, когда Варя появилась в дверях гостиной, и Облепищев, быстро покинув рояль, поспешил ей навстречу. — Какая же ты прелесть! Как ты похорошела! Какая ты пикантная! — говорил он по-французски, крепко целуя ее руки.

Она посмотрела на него. Тонкий профиль, прозрачная бледность лица, глубокие глаза с каким-то темным и неподвижным блеском — вот что бросилось ей в глаза. Он был очень мал, очень строен, одет во все черное, носил

монокль в петлице жакета и имел порядочную лысину. И Варя вдруг почувствовала к нему какую-то жалость.

У окна сидел и говорил с Алексеем Борисовичем Лукавин. При входе Вари он встал. Облепищев подвел его к Варе.

— Позволь представить тебе, моя прелестная, — вымолвил он в каком-то нервном и торопливом возбуждении, — друг мой Pierre... — И добавил с едва уловимой гримаской: — Петр Лукьяныч Лукавин. Рекомендую: дохода полмиллиона, а с Тедески торгуется как лошадиный барышник.

— Граф ни на шаг без подвоха, — возразил Лукавин, улыбаясь, и низко раскланялся с Варей. Варя и на него посмотрела. Он стоял рядом с Облепищевым и как будто напрашивался на сравнение. И контраст был так велик, что Варя не могла сдержать улыбки. Статная, крепкая и осанистая фигура Лукавина, плотно и ловко обтянутая великолепным сюртуком, превосходила на целую голову изящного и хрупкого графа. Но зато лицо Лукавина не отличалось нежною тонкостью очертания, и нервы не сквозили в нем непрестанной иг-

рою чутких мускулов, — оно было пышно и румяно, и печать великорусской смышленности явно лежала на нем. Зубы так и сверкали ослепительной белизною, серые глаза смотрели умно и насмешливо, коротко остриженная борода придавала несколько купеческий облик... «Как он типичен!» — невольно подумала Варя.

Подали обед. К обеду пришел и Захар Иванович. Облепищев поместился рядом с Варей. Он почти ни до чего не дотрагивался. Ложки три супу да кусочек куриной котлетки, вот все, что проглотил он за весь обед. И все как-то жался и болезненно морщился, как бы от озноба. Но речь его, порывистая и капризно разнообразная, не утихала ни на минуту. Он то рассказывал о новостях Ниццы — откуда только что приехал, то о впечатлениях дороги, то сообщал какую-нибудь сплетню политического свойства, то восторгался новой пьеской Рубинштейна. И эти капризные переходы, этот певучий и гибкий тон графа, эта мягкая и несколько грустная насмешливость, которой он беспрестанно освещал свои рассказы, ужасно нравились Варе. В ней самой

просыпалось какое-то мечтательное и ласковое настроение, и под влиянием этого настроения Мишель все более и более казался ей меньшим братом, больным и милым и несколько загадочным.

А Лукавин преисправно уничтожал и суп, и котлеты, и цыплят à la saraudine[8], которыми щегольнул-таки Лукьян, и ананас, поданный с шампанским, и дыню-кенталупу... А в промежуток говорил с Захаром Иванычем и с Волхонским. Впрочем, больше с Захаром Иванычем, чем с Волхонским. Он расспрашивал Захара Иваныча о хозяйстве, о качествах земли; спрашивал, можно ли устроить в окрестности сахарный завод, какой процент сахара можно ожидать в здешней свекловице, каковы должны бы быть условия сбыта, велик ли подвижной состав у ближней железной дороги, как можно эксплуатировать отбросы... И, видимо, оставался доволен обстоятельными и дельными ответами Захара Иваныча.

Пить кофе перешли в гостиную. Граф свернулся на râté[9], которое по его просьбе придвинули боком к рояли, от времени до време-

ни прикасаясь длинными и прозрачными своими пальцами к клавишам, медленно кусал ломтик ананаса, предварительно опуская его в вазочку с шампанским. Варя поместилась около него.

— Как живется тебе, Мишель, расскажи мне, — тихо спросила она, с участием заглядывая ему в лицо.

— Ты знаешь, моя прелесть, — залепетал Мишель, оживленно приподнимаясь на *râte*, — я ведь, собственно, не настоящий человек. Я так называемый *причисленный*... Я не живу, а числюсь; числюсь, мой ангел. Ты недоумеваешь? О, это так и нужно, чтобы ты недоумевала. Это вообще устроено для недоумений. Как и все, по словам одного ученого, но противного немца. Видишь ли — есть лавочки. И в лавочках есть люди, важные и воображающие, что они необыкновенно заняты делом. Тогда я смиренно прячу под мышку свою трехуголку и являюсь в лавочку. «Я граф Облепищев, — говорю я важным людям, — у меня имя, связи, имение, последовательно заложное в четырех поземельных банках и у Лукьян Трифоныча Лукавина, и так как

position oblige[10], то пожалуйста мне ярлычок...» Тогда важные люди дают мне коллежского асессора не куклу, милая, а настоящего коллежского асессора, хотя, разумеется, не человека, а чин, — дают мне еще маленький значок, обозначающий — прости за плеоназм — орден какого-нибудь миродержавца, с острова Отаити, дают мне вечный отпуск и перспективу периодических чинополучений... И я числюсь. О, моя прелесть, какое это пикантное ощущение!.. Раз в Абрущах я отстал от спутников... Но я тебе надоел своей болтовней?

— О нет, — быстро произнесла Варя.

— Отстал и сбился с дороги. Солнце погорало, торжественно и шумно, точно Requiem, горы дремали в золотом тумане, облака курились и таяли, вдалеке пламенело озеро, где-то задумчиво звенел мул... а до меня никому не было дела, и я шел извилистой тропой одинокий и забытый... — Он печально поникнул головой.

— Но ты... — начала было Варя, вся потрясенная жалостью.

— Но я, разумеется, никогда не забываю

уповать на милосердие божие и на распорядительность моей татап, — продолжал он, и в тоне его вдруг проскользнула жесткость. — Вообрази, она вздумала недавно вдвинуть меня в жизнь!.. О, это было преуморительно. Она говорит: «Вы, граф, должны быть мировым судьей»... Понимаешь ли — *должны*. Ты, моя прелесть, посмакуй это слово. Оно терпкое и вкусом походит на корку вот этого ананаса. Хорошо. Я, разумеется, посмаковал и поехал в деревню. И представь себе: деревенский люд уже изнывал по моей особе, и только что появился я в земском собрании, как едва не захлебнулся в искательных улыбках...

Варя усмехнулась.

— Ты находишь неправильным мое выражение? Ты думаешь, что в улыбках нельзя захлебнуться? — живо спросил граф и, не давая ей ответить, продолжал меланхолически: — О, какая ты счастливая, кузина! Ты не воспитывалась в пажеском корпусе, ты не учила грамматики!.. (Она попыталась возразить, но он снова перебил ее.) Ты не учила грамматики... Ты знаешь, что за остроумный прибор эта грамматика? Это сапоги, которые до того

научно обнимают твои ноги, что в них невозможно ходить... или, лучше всего, — культурная мамаша, которая странствует за своим ребенком с новейшей и рациональнейшей книжкой в руках — «Принципы к руководству ухода за детьми», — пошутил он в скобках, — в трех томах, цена за каждый том три целковых... Ребенку кушать хочется — мамаша в книжку смотрит: «Нет, mon enfant[11], потерпи пятьдесят три минуточки»... Терпеть! Да ему, может быть, животишко подводит, драгоценнейшая madame!.. Ребенок от сонливости глазенки провертел кулачишками, а мамаша снова к книжке, и снова не полагается спать бедняжке, а полагается бодрствовать и кушать, и какой-то патентованный бульон на воробьиных лапках... О, бедное дело эта грамматика!.. Ты не замечала ли в своей комнатке: раскрытая книга лежит на ковре вверх тисненым переплетом; бархатная скатерть полуспущена и широкими складками драпируется на полу; с резного кресла в красивом беспорядке ниспадает твое бальное шелковое платье; на столе, рядом с бронзовой чернильницей, стоит граненый

графин с водою; тяжелая гардина откинута; кошка лежит на атласной подкладке драпри и лениво мурлычет. А утреннее солнце ярко и горячо освещает этот живописнейший беспорядок. Оно и в графине сверкает прихотливой радугой, и блестит на крышке чернильницы, и светит на ковер, на стальной отлив твоего платья, на переплет книги... и мелкая пыль бьется золотым столбом, и крутится, и толпится в его лучах... И нега тебя обнимает, и встают перед тобой странные мечтания, мерещится палитра, арматура загадочного сооружения, недопитый бокал с янтарным рейнвейном, бархатный костюм художника... И какие-то крылья навевают на тебя смутные грезы, и веселая эпоха какого-нибудь Возрождения силится предстать пред тобою... О, дивно иногда живется без грамматики, моя прелесть!.. Но придет твоя Марфа — или как ее, — впрочем, пусть будет Марфа, это так идет к ней, к твоей воображаемой горничной, — помнишь: *Марфо, Марфо, что печешься о мнозем?..* И придет эта Марфа с шваброй в руке и водворит порядок, и закричит на кошку: «*Брысь, проклятая!*» — и сметет пыль,

и оправит скатерть, а в сердце твое, мой ангел, нагонит сухого и скучного холода... И грезы твои разлетятся как птицы... О, это остроумный прибор. — И он опять поник в задумчивости.

Варя не решилась заговорить. Только интерес ее к графу разгорался все больше и больше, и нервы как-то странно ныли. А Облепищев махнул головой, как будто отгоняя дремоту, и взял рассеянный аккорд.

— Но о чем я начал говорить? — вдруг с прежней живостью произнес он. — Да, о потоплении, о потопах улыбок. — Итак, меня выбрали. И представь: какая добрая эта моя татап, — она мне сюрпризом приготовила камеру. Я возвратился из собрания, и уж камера готова. О, это был восхитительный сюрприз! Ты не знаешь, в Петербурге на вербной продают: ты покупаешь просто обыкновенную баночку; но стоит только открыть крышку этой баночки — мгновенно выскакивает оттуда преинтересный, прелюбопытнейший чертенок... Итак, татап устроила мою обстановку (он вздохнул); я тебе расскажу о ней... То есть не о татап — ведь ты знаешь ее, эту

величавую совокупность льда и стали (он это сказал, несколько понизив голос), а про обстановку расскажу. Пол был паркэ; монументальный стол от Лизере занимал середину. На столе высился бронзовый араб с толкачом в руках и с ступой у подножья. Это — звонок, и татап выписала его от Шопена. Почему араб, и почему не земец, например, и не газетчик — не могу тебе объяснить. Но не в этом дело. Хорошая половина камеры была загромождена лакированными скамьями. Впереди стояли кресла для сливок. Все это было отлично, и все ужасно понравилось мне. И к тому же в своем костюме — *fantaisie*, который прислал мне Сарра ко дню первого моего упражнения, и в золотой цепи на шее, я ужасно походил... как бы тебе сказать... ну, на хорошенькую левретку походил, которая, помнишь, вечно торчала на коленях у бабушки... Кстати, не рассыпалась она, то есть бабушка, а не левретка?

Варя отрицательно покачала головой.

— Надо проехать к ней, потревожить проклятые кости графа Алексей Андреича... Итак, я походил на левретку. Впрочем, барыни —

те самые, которые поднимают платок, когда мамап заблагорассудится уронить его, а в Петербурге фамильярничают с нашим швейцаром и таскают из наших ваз визитные карточки разных особ, чтобы хвалиться ими дома, где они изображают самую накрахмаленную аристократию, — эти барыни находили, что я ужасно напоминаю Ромео... Где они видели этого Ромео? А ты никогда не воображала, как Джульетта просыпается в подземелье и в брезжущем полусвете видит мертвого Ромео... О, я воображал, и мне было ужасно хорошо. Такое, знаешь ли, трагическое сладострастие возникает, и в таком мучительном блаженстве разрывается сердце... (Он вздрогнул и сделал болезненную гримасу.). И так час пробил. Мои аристократки вооружились веерами, заняли позицию. Мамап со спиртом в руках торжественно водрузилась в резном кресле... Оно походило несколько на трон, но это в скобках, в скобках, кузина... Я тронул пружину. Усердный араб грянул толкачом. Швейцар — здоровенный верзила в аракчеевском жанре — распахнул двери и, изо всех сил упираясь в груди грузно валившихся му-

жиков, пропускал их по одиночке!.. Я опять тронул пружину. Араб опять гроыхнул толкачом. Аристократки тихо визжали, — прости! Швейцар страшно нахмурил брови и угрозил задним рядом. Началась фантазмагория. Выходит мужик в лаптишках и в рваном кафтане. «Вы — Антип Кособрыкин?» — «Мыс». — «Вы обвиняетесь в нарушении публичной тишины и спокойствия». Молчит в тяжком недоумении. «Вы обвиняетесь...» Сугубо молчит. Меня начинает одолевать конфузливость. Аристократки ахают и негодуют. Матап нюхает спирт. Швейцар тарацит глаза и крутит кулаки, как бы испрашивая полномочий. К счастью, чары разрушает обвинитель-урядник. Он энергически и какими-то очень простыми словами уясняет Антипу, в чем дело. Тогда Антип оживляется, говорит быстро и убедительно, размахивает руками, утирает полою нос и вообще входит в ажитацию. В его речи мелькают и какие-то *поезжәне, и сыспокон веков, и ейный деверь, и на то ён и дружка, чтобы, к примеру, порядок содержать, а эдак-то всякий ошелохвостится!* Вы не понимаете, моя прелесть? А я понял, понял

я, что и я сижусь дурак дураком, и араб мой бухает своим толкачом сдуру — не потому ли, что обоих нас сочинил иностранец? — и тапан моя... О, она очень остроумная, эта тапан! И вдруг, вообрази, я разом порешил эту пастораль: «По обоюдному непониманию дело откладывается до умнейших времен», — сказал и вышел из камеры.

И он пробежал рукой по клавишам и засмеялся.

— А знаешь, кузиночка, — вымолвил он, — вот диалог этот мой с Антипом, — есть такие искусники, что на музыку его могут переложить! — И он застучал по клавишам. — Вот это будет означать: *чаво?* А это: *ах ты, разнесносный гражданин Антип!* А вот это *allegretto ma non troppo*[12] изобразит: *а посему, руководствуясь 79 и 81 ст. Уст. Уголов. Судопр. и на основании 112 и 115 ст. Уст. о наказ., налаг. Миров. Судьями...* Варя улыбнулась.

— Ты смеешься? Нет, ты не смейся, — и он грустно вздохнул, — ты лучше пойдешь, поплачь к себе. А знаешь, когда я люблю плакать? Когда вечером мрачные тучи покроют небо и густо столбятся над закатом, а под ни-

ми узким и пламенным румянцем горит заря. И в поле ходят трепетные тени и погасают, и заря как будто прощается, как будто умирает и на века покидает холодную землю... Есть картина такая: «Вечер на острове Рюгене», Клевера, кажется... Так вот перед этой картиной я раз стоял и плакал. Я плакал, а на меня смеялись. И толстый купчина с пятном на животе смеялся, и накрахмаленный жидок из банкирской конторы смеялся, и барыня в гремящем платье смеялась, и мадмуазелька, с лорнеткой в одной руке и с любовной запиской в другой, и та смеялась... А ты не читала Байроновой «Тьмы»? Я читал, а потому и плакал пред картиной. Ты не читай... А ты знаешь, моя прелесть, я слишком много говорю и, наверное, скоро расплачусь... Но ты ужасно мне нравишься... А как ты находишь Лукавина? О, как он поет, моя милая!.. Вот погоди! И он никогда, никогда не расплачется. И заметь, какой он здоровый. Таковы были варвары, которых изображал брюзга Тацит. А мы с тобой римляне, моя ненаглядная, изнеженные, истерзанные римляне.

И он с печалью улыбался, тихо прикасаясь

к клавишам. А где господин Тутолмин? — спросил Волхонский Захара Ивановича.

Варя вздрогнула и оглянулась. И вдруг вспомнила, что она любит. Но мысль эта не отозвалась в ней, как отзывалась прежде — жутким и блаженным замиранием, она только напомнила ей факт; напомнила еще деревенских больных — и то, что Илья Петрович привезет доктора и больные выздоровеют... И она снова наклонилась к графу.

— Он уехал за доктором, — сказал Захар Иваныч.

— Кто болен? — живо произнес Волхонский.

— Да вся деревня больна. В каждом почти дворе ли хорадочный.

— Ах, деревня, — протянул успокоенный Алексей Борисович, — надеюсь, вы распорядились купить хины и раздать?

— Покупать не покупал. Но у меня есть немного. Легкая тень неудовольствия скользнула по лицу Волхонского.

— Пожалуйста, пошлите купить, — сказал он, — положение обязывает, вы знаете это. И чтобы не путаться по конторе, то вот... — Он

поспешно поднялся и спустя несколько минут принес Захару Иванычу сторублевку. — Пожалуйста, — повторил он. Захар Иваныч начал прощаться.

— Вы мне дозвоьте осмотреть ваше хозяйство, — вымолвил Лукавин, — я большой охотник.

Лик Захара Иваныча засиял.

— С величайшим удовольствием, — произнес он.

— Многонько платите? — спросил Лукавин Волхонского когда Захар Иваныч скрылся за дверями.

— Тысячу двести.

— А именьице велико ли?

— Четыре тысячи десятин.

— Дешевенько. Вы ему набавьте. Дельный он у вас парень.

— Но тут особые условия, Петр Лукьяныч, — сказал Волхонский, — он ведь у меня — свой человек.

— Это в расчет не идет, — с тонкой усмешкой возразил Лукавин. — Нынче, Алексей Борисыч, честь не велика в салонах обращаться. Нынче голова ценится. А головка у вашего

управителя золотая-с.

— Но я ведь не говорю, — живо произнес Волхонской, — я вовсе не думаю, чтобы... вы понимаете? Я только хочу сказать, — он у меня свой в смысле родного.

— Да; ну это ваше дело. Это бывает-с. А вам стоило бы обратить внимание на его мысли о сахарном заводе. Мысли важные.

— Но это — ваши мысли? — льстиво сказал Алексей Борисович.

— Я только вопрос ему предложил. А у него уж целый проект в голове сидит; он и свекловицу сажал для опыта: двенадцать процентов сахара — помилосердствуйте!

— Капитала нет, — со вздохом произнес Волхонский.

— Пустое дело, — сказал Лукавин, — семьсот, восемьсот тысяч при известной солидности предприятия добыть легко.

— Ах, не греми ты этими противными своими словами! — нетерпеливо воскликнул граф. — Не слушай его, дядя: он ведь точно ребенок — не уснет без гремушки, без своих противных валют и дисконтов. Идите лучше сюда.

— А вы чем руководитесь в своих действиях, — смеясь и несколько книжно спросила Варя у Лукавина, когда он подошел и сел около нее, — грезами или действительностью?

— Во сне — грезами, — ответил он, усмехаясь.

— А наяву?

— Гроссбухом, — ответил за него Облепищев.

— На это у нас есть конторщики, — возразил Лукавин.

— А чем же? — любопытствовала Варя.

— Жизнью, Варвара Алексеевна, фактами, как пишут в книжках.

— И чувствуете себя довольным?

— Как будто не видишь, — смешался граф.

— Ничего-с, — ответил Лукавин и характерно тряхнул волосами.

— Нет, зачем ты с Тедески торгуешься? — капризно пристал к нему Облепищев.

Петр Лукьяныч отшучивался.

— Отец научил.

— Но ведь тому простительно, тот «Лукьян Трифоныч».

Алексей Борисович заступился за Лукави-

на.

— Но для чего же необдуманно тратить деньги, мой милый, — сказал он.

— О, дядя! — патетически воскликнул Облепищев и умолк. Вообще в его отношениях к Лукавину замечалась какая-то двойственность: наряду с обращением дружеским и шутливым вдруг аляповато и резко выступала раздражительная насмешливость. Варя это заметила и в недоумении посмотрела на «приятелей». Приводил ее в недоумение и Алексеи Борисович. В тоне его ясно звучали какие-то чересчур благосклонные нотки, когда он говорил с Лукавиным. И даже обычная ядовитость как будто покинула его, — это Варя не понравилось.

XII

Вечером все маленькое общество собралось у рояля. Облепищев выглядел теперь уже не таким нервным и говорил мало. Черный бархатный костюм какого-то невиданного покроя привлекательно оттенял матовую белизну его лица. Он перебирал ноты, высоким ярусом наваленные у его ног, и категорически отмечал их недостатки. То было «шаблонно», это «тривиально», это «переполнено треском»...

— Да где ты такие вкусы развила, моя прекрасная? — воскликнул наконец он, обращаясь к Варе.

— Ты знаешь, я ведь плохо понимаю музыку, — ответила она краснея.

— А вот эту вещичку ты поешь, Pierre, — заметил Облепищев, не обращая внимания на ответ Вари и развертывая на пюпитре ноты. — Немолодая вещь, но не дурна. Будешь? — вопросительно сказал он, обращаясь к Лукавину.

— Пожалуйста! — попросила Варя. Лукавин вежливо поклонился. Варя отошла от ро-

яли и уселась на открытое окно. Она ждала. В окно видно было небо глубокое и звездное. Из сада доносился слабый шорох деревьев и беспрестанно замирающий соловьиный посвист. Озеро в неясном и загадочном мерцании уходило вдаль, незаметно сливаясь с темнотой. Варя посмотрела в комнату. В молочном свете ламп мраморный профиль Облепищева выделялся особенно тонко и благородно; Лукавин стоял мужественно и прямо, как Антиной, и от его красивого лица веяло какой-то самоуверенной силой; Алексей Борисович задумчиво утопал в кресле, изящный и эффектный; полный и цветущий Захар Иваныч, скрестив руки на брюшке, с любопытством поглядывал на Лукавина... Вдруг руки графа быстро пронеслись по клавишам, и звуки рояли шаловливой и спутанной вереницей затолпились в высокой комнате. Но вслед за ними протянулась нота знойная и печальная и оборвала их звонкое лепетанье и медлительно угасла. «Что, моя нежная, что, моя милая», — запел Лукавин,-

Что ты глядишь на осенние тученьки?..

*Сна ль тебе нет, что лежишь ты,
унылая,
Грустно под щечки сложа свои ру-
ченьки...*

И Варя почувствовала, как его голос, звучный и мягкий как бархат, с тихой отрадой льется ей в душу. «Э, как давно не слыхала я музыки», — произнесла она сквозь беспомощную улыбку, и слезы у ней закипели. «Я зашепчу твою злую кручинушку», — пел Лукавин,-

*Сяду у ног у твоих я на постеле-
люшку,
Песню спою про лучину-лучинуш-
ку,
Сказку смешную скажу про Еме-
люшку...*

Захар Иваныч покрутил головою и усмехнулся. Варя в досаде отметила эту усмешку. «Ему, кроме своей интенсивности, на свете ничего не мило», — подумала она. Но тотчас же забыла и о существовании Захара Иваныча и снова замерла в чутком внимании. И вкрадчивые звуки ласково и нежно ластись к ней и приникали к ее сердцу осторож-

ной струйкой, и наводили на нее какую-то сладкую и пленительную истому. «Стану я гладить рукой эту голову», — продолжал Петр Лукьяныч, ниспуская голос до каких-то изнемогающих ноток,-

Спи ты, мол, дитяtko, баиньки-баюшки...

А Варя сидела как очарованная и, точно в полусне, крепко и тревожно сжимала свои руки.

Разошлись рано. Прежде всех раскис граф: после пения его снова стало поводить как в ознобе, и тусклые тени забродили по его лицу. Он начал было какую-то фантазию дикими и торопливыми аккордами, постепенно переходившими в тоскливое и задумчивое *adagio*[13], но оборвал эту фантазию резким диссонансом и простился. За ним последовали и другие.

Но Варе не хотелось спать. Она завернулась в плед и тихо сошла в сад. В ее ушах все еще стояла музыка. Какие-то неясные грезы вились в ее головке, и ночной воздух веял на нее жуткими и таинственными струями. В са-

ду загадочная темнота ее обступила. В этой темноте смутными очертаниями возвышались деревья, блистало черное озеро в мрачной неподвижности, выдвигался угрюмый фасад дома, длинный и несоразмерный, тускло и трепетно мерцали звезды... И повсюду бродили тени, переплетаясь в причудливом колебании. Иногда как будто какая рука прикасалась к глазам Вари: тьма сгущалась, ближний куст сирени выдавал себя только слабым, едва уловимым шорохом да особенным запахом холодной влажности; очертания высоких берез сливались с небом; озеро облекалось мраком... И тогда особенно жутко становилось Вале, и сердце ее стучало сильно и пугливо. Иногда же тени раздвигались медленно и странно, мрак редел, вода далеко уходила в глубь ночи, березы подымались яркими контурами, и купы сирени резко обозначались на синей темноте.

Варя с боязливой осторожностью переступала по дорожке. Она как будто опасалась внести тревогу в этот капризный мир теней, неслышно скользивших вокруг нее и словно прикасавшихся к ее лицу легким и прохлад-

ным прикосновением. Вдруг звучный плеск волны раздался у ее ног. Она слабо вскрикнула и отступила, оглянувшись по направлению к дому. Там ясно и ровно горела свеча в ее комнате. Тогда она невольно усмехнулась и остановилась как вкопанная. И музыка снова наполнила ее слух. Звуки рояли причудливо мешались с мерным и однообразным плесканием озера, с неясным лепетаньем листьев, непрестанно будившим чуткую темноту, и в каком-то сказочном сочетании носились вокруг нее, манили ее куда-то, переполняли все ее существо тайным и сладостным томлением... И она жадно вслушивалась в этот неясный призыв. словно какие чары ласковой и медлительной струею вливались в ее душу и повергали ее в смутный сон.

И долго она стояла на берегу озера, немая, неподвижная, внимательная. Иногда ей казалось, что времени не существует, что в пространстве неуловимо носятся призраки, и что она сама как будто тает и превращается в призрак, готовый улететь в это бесконечное пространство. И вдруг слезы приступали к ее горлу, сердце тоскливо сжималось, ей хоте-

лось бежать отсюда, видеть людей, слышать человеческий голос. Но тогда какая-то струна звучала сильно и пленительно и заглушала это стремление, и Варя стояла как прикованная, беспомощно отдаваясь напору томительных мечтаний и звуков, мерных и таинственных как шепот волшебного заговора.

И чем дальше, тем чаще выступал из темноты сильный струнный звук. Он звенел как будто особо от тех, что толпились в голове Вари, и — то прерывался, рассыпаясь мелкой трелью и уныло погасая, то возникал снова, смело и самоуверенно. И по мере того как он усиливался — чары как будто уплывали от Вари, сон ее покидал, грезы отлетали от нее как ночные птицы, встревоженные ярким блеском солнца. Наконец она разобрала этот властительный звук — это был колокольчик. В далеком поле кто-то ехал. Тогда Варя глубоко вздохнула и медленно пошла к дому. Какая-то слабость овладевала ею, нежно утомляя члены.

Но когда она легла, сон не сходил к ней. Она думала о графе, о его разговорах, полных какой-то причудливой прелести и странных

как фантастическая сказка. Представляла себе его лицо, изменчивое и печальное. И снова какая-то жалость прокралась в ее сердце. Потом Лукавин прошел в ее воображении красивым, но холодным и неинтересным силуэтом. А затем она вспомнила о Тутолмине. И опять это воспоминание не отозвалось в ней прежним ощущением... Самый образ Тутолмина как будто потускнел и появился теперь перед Варей в каких-то чересчур уже простых и будничных очертаниях. Душа ее не рвалась к нему, сердце не замирало в блаженной тревоге. Она думала о нем спокойно и сухо. Думала *наружно*, если можно так выразиться, не углубляясь в суть, не анализируя, с какой-то невольной осторожностью, незаметной для себя самой, минуя те струны, которые могли бы звучать страстно и беспокойно. Думала о том, как она поедет на курсы, выйдет за него замуж, будет уже не Волхонская, а *Варвара Алексеевна Тутолмина* (она даже произнесла это громко и осталась довольна звучностью произношения). Дальше мысли ее обрывались. И вдруг ей сделалось скучно. Тогда она опять вообразила себе бледного Мишеля, с его

речами, странно влияющими на нервы. Затем вспоминала о том, как еще много нужно ей прочитать и «осмыслить» из прочитанного. «Точно уроки!» — подумала она, и sereneкая гимназическая жизнь предстала перед нею. «Уедут гости — займусь тогда», — решила она и на этом решении заснула.

Наутро Варя проснулась очень поздно. Голова ее была несколько тяжела и мысли смутны. Солнце проникало из-за драпри. В распахнутое окно вливался душистый воздух. Надежда прибирала комнату. Варя спросила у ней, где гости. Оказалось, что Лукавин с Алексеем Борисовичем и Захаром Иванычем уехали в поле. («Папа в поле!» — недоверчиво воскликнула Варя.) Граф же только что вышел и теперь сидел на балконе.

Варя поспешно оделась и вышла к графу. Он рассеянно перелистывал Мильтонов «Рай» с великолепными рисунками Доре и скучающим взглядом обводил окрестности. Красный шелковый платок небрежно повязывал его шею, отражаясь на лице нежным и прозрачным румянцем.

При входе Вари он оживился и повеселел.

— О, как ты славно спишь, моя прелесть, — сказал он, крепко целуя ее руки.

— Я долго не спала с вечера, — оправдывалась Варя и с беспокойством посмотрела на лицо графа. — Ты не болен? — спросила она.

— Ах, когда же я бываю «не болен», — с печальной усмешкой возразил граф, — никогда. И ты знаешь, что странно: болезни, в сущности, никакой нет, — все в порядке; и вместе — все бессильно, расшатано, истерзано... Что делать, милая, мы ведь слишком чистопородны. Ты просмотри бархатную книгу: сотни лет — и ни унца здоровой демократической крови!.. То ублажаем хана витиеватыми речами, то строчим бумаги в посольской избе, то поем обедню с Иваном Грозным, то обучаемся наукам в немецкой земле и прожигаем жизнь в Париже... Ни одной капли рабочей крови!.. Ни одного «мезальянса», который обновил бы нас!.. С незапамятных лет живут Облепищевы, — живут в голову, в язык, в ноги — сколько десятилетий скользившие по паркету, — живут в нервы, но никогда не в мускулы!.. И вот теперь можете полюбоваться, — вытянул

свои руки и снова сложил их, — малейшее волнение приводит меня в дрожь... Когда я в первый раз увидел Рим — я плакал как ребенок; в французской палате депутатов со мной чуть истерика не сделалась, — правда, в то время говорил Гамбетта... — И добавил, усмехаясь: — Ах, отчего моя великолепная мамаша не сочеталась с Лукьяном Лукавиным!

— Вот если бы она услышала тебя, — заметила Варя.

— Что же тогда? — произнес граф, с насмешливой внимательностью посмотрев на Варю.

— Как что? По всей вероятности, на сцену выступил бы спирт...

— Ты думаешь? — протянул он и неопределенно улыбнулся.

— А жива мать Петра Лукьяныча? — спросила Варя, несколько смущенная этой улыбкой.

— А тебя это интересует?.. О, крепка как ломовая лошадь и гостей своих встречает бо-сиком, — у нее, видишь ли, «пальцы преют». Впрочем, ее выпускают только к действительно статским, — с генералами военными она

невозможна: слишком уж пыхтит... А действительные статские советники сны ей разгадывают, руки у ней целуют, и она очень довольна.

— Однако какой ты злой, Мишель! И с какой стати важные люди будут унижаться перед Лукавиным, — признайся, ведь это у тебя *roug passer le temps*[14] вышло?

— О, наивность ты моя! Да давно ли ты с Гебридских островов?.. Мало того — сны разгадывают, сам собственными своими очами видел, как субъект в ленте и в звезде, — правда, Станиславской, — Лукьяну шубу подавал... Прелесть ты моя, да разве же мы не хватили революционных понятий... *égalité*[15], помилуй!.. Мы не только шубу, честь свою преподнесем его степенству, лишь бы... О, как это гнусно, однако ж! — внезапно добавил он с дрожью в голосе.

День был душен. Солнце палило безжалостно. На балконе становилось невыносимо жарко. Граф и Варя перешли в гостиную. Там было прохладно. Широкие маркизы заслоняли окна. Пышные растения распространяли душистую влагу. Облепищев снова располо-

жился около рояли и попросил Варю сесть около него. И опять он заговорил не умолкая. И опять его речь, причудливо изменяясь в тоне и выражении, как-то странно стала действовать на Варю: и грустно ей было, и хорошо, и не в силах она была оторваться от лица графа, на котором трепетно ходили тени кактусов и зеафорций, стоявших у окна, и — о чем бы ни подумала она — представало перед ней в каком-то ином, особливом, освещении, фантастическом и неясном, словно сквозь узорчатые стекла старинного немецкого собора...

— Странное это дело — выродившийся человек! — говорил Облепищев. — Он несет в себе идеи века, познания века, кряхтит под ними, изнемогает, но несет... Сердце его чутко, совесть чутка, о нервах говорить нечего... И никому-то он не нужен, никому до него нет дела... Ты не воображала картину, — чудовищная машина-история катит себе по человеческим спинам, среди оханий и мучительных стенаний... И благоразумный люд умненько сторонится от ней, торгует, любит, плодится, пляшет, ест, пьет, распевает роман-

сы на мотив *argis nous le déluge*... Но спицы безжалостных колес, разрывая толпу, разрывают и сердце чуткого человека. Горит его сердце... И вот он, хилый, хрупкий, нервный, — хватается бледными руками за ужасные спицы и силится остановить глупую громадину, направить ее на иной путь, где бы не было этой бесконечной подстилки из человеческого мяса... Я вот часто вижу его, этого чуткого человека. Руки замерли, судорожно охватывая железные полосы; лицо искажено неизъяснимым отчаянием; хрупкое тело гнется и готово разбиться и захрустеть под тяжестью исполинского колеса... О, этот треск костей человеческих, как он ужасен!

— Но разве же только одни хрупкие руки хватаются за эти спицы, милый? И разве чуткость в одном «выродившемся» человеке? — тихо прерывала его Варя.

— В нем одном, — решительно говорил граф. — Чтобы бросаться под колеса, забывая счастье, жизнь, любовь, солнце, — нужно быть больным Шиллером, а не здоровым Гете... Милая моя, здоровый человек не бросается — он приспособляется. Его нервы не одоле-

ют, у него не загорится сердце непрерывной, неутихающей болью...

— И «чуткие» не победят? — спрашивала Варя.

— Никогда. Где антилопа побеждала тигра? «За днями идут дни, идет за годом год» — и вечно торжествует, моя прелесть, один и тот же принцип — принцип вражды, силы, злобы:

*...И будто где-то я затерян в море
дальнем —
Все тот же гул, все тот же плеск
валов
Без смысла, без конца, не видно берегов...
Иль будто грежу я во сне без пробужденья,
И длинный ряд бесов мятется
предо мной:
Фигуры дикие, тяжелого томленья
И злобы полные, враждуя меж собой,
В безвыходной и бесконечной схватке
Волнуются, кричат и гибнут в беспорядке.*

*И так за годом год идет, за веком
век,
И дышит произвол, и гибнет че-
ловек.*

— Но как это печально, — пролепетала девушка, и вдруг какая-то трезвая и бодрая струя коснулась ее: она вспомнила о Тутолмине. — Но ты преувеличиваешь, ты болен! — воскликнула она, и щеки ее запылали. — На свете вовсе не так грустно, и вовсе нет такого безумного предопределения... Я не знаю — но в нем так много надежд, так много светлого...

— Ах, моя прелесть, я не имею тучных щек, чтоб мечтать об Аркадии, — с некоторым неудовольствием перебил ее граф, — и притом, что мои мечтания? Ты замечала, над пышным закатом — когда птицы поют, провожая светлый день, и деревья лепечут, как будто произнося: «Gut Nacht! Gut Nacht!»[16] — и вдруг неожиданно встает бронзовое облако, и омрачает румяный вечер, и кропит землю теплыми слезами... Разве птицы замолчали; разве деревья переставали лепетать?.. А что нужды, если в твою душу вместе с облаком вторгалась легкая тень и наводила на тебя

грусть и жаль тебе было пышного заката... Завтра ты снова встанешь бодрая и свежая... А облако... облако, моя милая, давно уж растаяло и разлилось в слезах... И вдруг он спросил Варю:

— Ты любила, кузина?

Варя вспыхнула до корней волос и промолчала. Но Облепищев и не ждал от нее ответа: он взял длинный и печальный аккорд и прикоснулся лицом к клавишам.

— Я любил, — медленно сказал он, выпрямляясь, и повторил, как бы вдумываясь в свои слова: — Я любил... — Затем он сосредоточенно и тоскливо посмотрел в неопределенное пространство. На его глазах заблестели слезы.

— Расскажи... — прошептала Варя, ласково погладив его руку. — Расскажи, мой милый... Тебе будет легче.

Он с благодарностью посмотрел на нее и, немного помолчав, начал:

— Это было не здесь. Мы зимовали в Женеве. Я только что вышел из корпуса и отдыхал. То есть мне говорили, что я отдыхал, — в сущности, я изображал своими нервами скрипку,

по которой разгуливал смычок графини... Но это в сторону. Все-таки было весело. Маман день и ночь рассуждала, под каким соусом подать меня в свет; примеривала на меня и мундир посольского юнца, и гвардейский, и юстиции, и археографический из второго отделения... Но в антрактах я был свободен и намордник мой прятался под подушку. У нас было знакомство. Были две-три генеральши довольно сомнительной породы, но очень богатые (одна, впрочем, впоследствии времени оказалась штабс-капитаншей); была одна графиня с лицом, поразительно напоминавшим бутылку из-под шампанского, и с дочерью, стройной и пронзительной как уланская пика; был старичок сенатор, лечившийся от сонливости, одолевавшей его при виде красного сукна — любопытное извращение известного физиологического факта, наблюдаемого при другом случае; был предводитель дворянства, непомерно глупый и толстый, но, однако же, отчаяннейший либерал... Впрочем, воздух ли Женевы влиял на нас, но все мы либеральничали напропалую. И вот среди нас-то появлялась одна девушка. Что тебе сказать о ней?

Она никогда не либеральничала. Она говорила глубоким, гортанным голосом и иногда пела. Лицо у ней было смуглое и неизъяснимо гордое. Помню, как все притихали при ней и осторожно вдумывались в слова, — что, разумеется, не мешало им изрекать вечные глупости... Вот и все. Но я ужасно полюбил ее. Я бредил ею. Когда она бывала у нас, я не сводил с нее взгляда. Я угадывал шелест ее темного платья иногда за две, за три комнаты. Но она, конечно, не замечала меня. Да замечала ли она кого? Она была, как царица, недоступна. Но раз она перестала бывать в нашем доме. Причина ужасно всех поразила. Из России пришли неслыханные, потрясающие вести... Наш salon вдруг как-то приник и моментально утратил фрондерское свое обличье. Помню, графиня все ходила, преодолевая волнение, по нашей светлой зале с видом на голубое озеро и, посадив меня в позицию, назидала. Вечером приступили к дебатам. И вот во время этих-то дебатов первый раз показала наша царица свои львиные когти. Сначала она как будто изумилась, когда генеральша, — та самая, которая оказалась впослед-

ствии времени штабс-капитаншей, — круто повернула фронт и с сочувственным вздохом помянула времена графа Бенкендорфа. Но когда весь salon подхватил этот вздох, когда все эти вчерашние вольнодумцы, спеша и захлебываясь друг перед другом, стали выгружать свои подлинные чувства — без всяких уже карбонарских плащей и фригийских шапок, она внезапно встала и... ушла, надменно подняв голову...

Он замолчал.

— И все? — спросила Варя.

— И все, и нет, — вымолвил граф. — Я уже более не видал ее. Я бегал по Женеве, искал, спрашивал — все было напрасно. Прошел год. Я торчал в Мадриде в качестве «причисленного»... И одно время узнал о ее свадьбе. Жених был молод, богат, имел положение, связи... Казалось, все окончилось благополучно. И затем все кануло как в воду. Знаешь, точно камень: ударится, взволнует светлую поверхность... И снова тихо, и только далеко-далеко отраженная волна плеснется в сонный берег и рассыплется звонкими брызгами.

— И все?

— О, нет. Я тебе не буду рассказывать, как я развенчивал мою царицу, как воображал ее среди пеленок, в беседе с поваром, в разговорах с прачкой... Об этом тебе расскажет Гейне. Но не особенно давно я узнал о ней: графиня с злорадной улыбкой подала мне газету. «Вот до чего доводит эксцентричность, граф», — произнесла она, видимо подразумеваемая недуги твоего покорнейшего слуги... Бедная мама, она называет это эксцентричностью! Но я не спорил с ней, — я ведь не могу с ней спорить, — я заболел, долго жил в Ницце, долго... Но это, впрочем, неинтересно. Она промчалась по нашему беспутному небосклону ослепительной звездой и трагически угасла.

— Но за что же? — в ужасе спросила Варя.

— За «эксцентричность», моя прелесть, — горько сказал граф и спустя немного продолжал: — Потом я узнавал подробности... Шаг за шагом восстанавливал странную жизнь этой девушки — я не могу называть ее *madame* — и, знаешь, к чему я пришел, моя ненаглядная: без трагической ноты эта жизнь не была полна. Эта нота как будто гамму собой дополни-

ла. Иначе была бы трудовая, мещанская проза, без величия, без геройства... Вообрази Ромео и Джульетту в благополучном сожитии или Отелло, окруженного карапузиками... Слишком много прозы!.. А теперь вот звучит эта гамма душу леденящим созвучием, и стоит предо мной моя царица в дивном гневе, и я не смею ее любить, смею только боготворить ее, преклоняться перед нею...

— Как ее звали? — спросила Варя, чувствуя, что вслед за словами графа и в ее душе возникает светозарный образ величавой и загадочной женщины.

— Женни, — ответил граф и, покинув диванчик, пересел па табурет. — Вот послушай: я попытался звуками изобразить эту жизнь, — произнес он. — Но не ожидай чего-нибудь самостоятельного, о, нет... Ты знаешь, у меня нет композиторского таланта, нет оригинальности, я хочу сказать, у меня есть только вкус да «чуткость», моя прелесть, — он грустно вздохнул. — Что делать m-lle Каллиопа, по всей вероятности, прозвала час моего рождения в балагурстве с герром Вагнером, и вот теперь суждено мне, бедному,

выжимать апельсины... Знаешь, как в Италии, — там не чистят их, а просто сосут и бросают. Итак, не ожидай оригинальности. Но прежде сообщу тебе текст: «Ни одной тревожной думы на душе. Небо синее. В сердце горит любовь. Соловьиная песня навевает радужные грезы...»

И он прикоснулся к клавишам. Рояль зазвучал. Грациозные звуки с веселой безмятежностью обступили Варю. Она разбирала среди них что-то знакомое, где-то слышанное, но это знакомое струилось едва заметно и, сливаясь с новыми звуками, являлось в каком-то ясном и свежем сочетании. Воображению Вари представлялась березовая роща, насквозь пронизанная солнечным блеском, веселое мелькание душистых листьев, соловьиная песня, замирающая в отдалении, яркая зелень луга... Но вдруг какая-то тень смутно нависла над пейзажем. «Облако?» — подумала Варя и отчетливо увидела, как потускнели стволы берез и исчез глянец с клейких листочков... Соловей замолк... Она вслушалась. Светлые звуки стихали, отступали куда-то, погасали с робкой торопливостью. И внезап-

но в какой-то смутной дали возник невыразимо печальный и долгий стон. С каждой минутой он приближался, однообразно повышаясь, и властительно вытеснял идиллию. Неспешная вереница грациозных ноток беспорядочным узором вилась около него и в смущении разбредалась. И с каждой минутой этот скорбный звук все более и более пробуждал в Варе какие-то глубокие воспоминания. «Да что же это?» — думала она в тоскливом недоумении. Вдруг мотив зазвучал сильно и уныло. У Вари как-то радостно упало сердце: она угадала его. «Как это хорошо!» — прошептала она и смахнула слезы.

— Ты была на Волге? — говорил Облепищев. — День жаркий и душный. Раскаленный воздух неподвижен. Река в невозмутимом покое уходит вдаль. Песчаные отмели ярко желтеют, на них рядами сидят птицы. Там и сям белеют паруса, поникшие в сонном изнеможении... Все тихо. И вдруг в знойный воздух тоскливо врезается песня:

Эх, дубинушка, ухнем...

Эх, зеленая, сама пойдет!.. —

и унылое настроение охватывает тебя, и тупую болью ты смотришь на эту знойную даль, на Волгу, на поникшие паруса... И кажется тебе, что и барки эти, сонная Волга, и пустынные берега, изниженные птицами, и вон тот курган, что, вероятно, помнит Стеньку Разина, а теперь навис над рекою в мрачной задумчивости, — все разделяет твое уныние и твою медленную боль... А песня стонет и тянется, и бесконечно надрывает твою душу.

И он снова заиграл. Однообразный стон «Дубинушки» медлительно замирал под его пальцами, уступая место звукам сильным и широким. И Варю заполонили эти звуки какой-то величавой и строгой серьезностью. Правда, тоска сказывалась и в них, но уже не казалась Варе подавленным стенанием, как в «Дубинушке», — она походила на призыв и гудела точно набатный колокол... Варя знала, что это был напев какой-нибудь старинной песни, но какой именно — не помнила. И она вопросительно посмотрела на графа.

— Разбойничья песня, — сказал он и, не отрываясь от рояли, проговорил внушитель-

НЫМ РЕЧИТАТИВОМ:

*Как на славных на степенях было
саратовских,
Что пониже было города Сарато-
ва,
А повыше было города Камышина,
Собрались казаки-друзи во единый
круг,
Как донские, гребенские и яицкие...*

Но тут характер музыки снова изменился. Протяжный напев стал прерываться. Там и сям среди него подымались какие-то гордые звуки и, утихая, уступая дорогу могучему напеву, опять возникали. И с каждым таким возникновением неслышно, но неотступно образовывался новый мотив. Он ширился, развивался, ускорял темп, как будто торопил медленную песню, захватывал ее с собой, шел с нею рядом... И вдруг раздался громко и торжественно. Варя даже вздрогнула от неожиданности: это была марсельеза. И снова она вспомнила картину Доре. Но теперь среди восторженной толпы шла и потрясала знаменем гневная Женни. И все существо Вари переполнилось любовью к этой таинственной

женщине.

Но победоносная музыка прекратилась скоро и внезапно. Лицо графа явило вид неизъяснимого волнения. Инструмент зарыдал под нервным прикосновением его рук... И надрывающий напев русской свадебной песни, причудливо переплетаясь с мотивами известного трио из «Жизни за царя», — больно и настойчиво зацепил сердце Вари. Затем пронесся какой-то смутный гул, подобный отдаленному шуму волн и напомнивший Варе одно место из бетховенского «Эгмонта»; потом раздался резкий и сильный металлический удар... и все смолкло. Но граф не покидал клавиатуры; с лицом, белым как мрамор, и с недоброй усмешкой на губах он стремительно опустил руки на клавиши и, подражая приемам тапера, заиграл с преувеличенной, с нервической быстротою. Торопливый темп опереточного вальсика нахально закрутился в воздухе. Иногда грозный гул, подобный отдаленному волнению бесчисленной толпы, пытался бороться с этим темпом, пытался потопить пошленькие его звуки в своем внушительном рокоте... Но вальсик вырывался как

иступленный, дерзко и нагло заглушал этот рокот своей подленькой игривостью, и мало-помалу рокот утихал, дробился, поспешал с неуклюжей готовностью за расторопными звуками вальсика... И в конце концов все превратилось в какой-то шумный и приторный хаос, целиком преобразивший вечеринку Марцинкевича.

Наконец Облепищев оторвался от рояли и закрыл лицо руками. «Жизнь Женни», — пролепетал он в волнении. Варя, вся в слезах, вся потрясенная какой-то жгучей жалостью, гладила его голову, называла его ласковыми именами, участливо сжимала ему руки... О, чего бы она не отдала, чтобы все вокруг нее были веселы и счастливы и чтобы никто не извлекал из рояли таких надрывающих звуков.

— А как тебе нравится эпилог, моя прелесть? — сквозь слезы произнес граф, с любопытством взглядывая на Варю. — Не правда ли, это очень удачно?.. Это, если хочешь — философия пьесы. Когда я играл ее Н. (он назвал музыкальную знаменитость), Н. сказал мне: «Да это пир во время чумы, мой милый

гномом...» Не знаю почему, он всегда зовет меня «гномом». Разве я похож на гнома, моя дорогая? — И он кокетливо улыбнулся со слезами на глазах.

Варя ничего не сказала. Она провела рукою по лицу и в тихой задумчивости вышла из комнаты. В голове ее роились великодушные мечтания.

XIII

Долгих усилий стоило Илье Петровичу разыскать земского Гиппократа. А когда он наконец нашел его и с обычной своей горячностью напустился, упрекая его в бездействии, Гиппократ только руками развел.

— Батюшка мой, да вы с луны? — флегматично вымолвил он, отрываясь на минуту от ящика, в который упаковывал медикаменты.

— Я не с луны — я из деревни, где людидохнут без всякой помощи, — отрезал Тутолмин.

— А где они недохнут, позвольте вас спросить? — язвительно осведомился медик и, не получив ответа, продолжал: — Я, батенька, десятый день из тележки не выхожу. А участочек у меня: сорок верст так да сто сорок эдак — итого *пять тысяч шестьсот* квадратных!.. А голова у меня одна и рук только две; вот оно какое дело, горячий вы человек.

— Но у вас фельдшера...

— Есть-с. Есть, любезнейший вы мой; три фершела есть — не фельдшера, а именно *фершела* — один при больничке гангрену разво-

дит, другой пьет запоем, а третий — у третьего, голубь вы мой, тифозная горячка третий день, и будет ли он жив — ведомо господу. Я же, извините вы меня великодушно, две ночи не спал да два дня не жрал.

Тутолмин стих и во всю дорогу обращался к доктору с глубокой почтительностью. Его как бы подавляла эта непосильная преданность своему делу, обнаруженная флегматичным и сереньким человеком.

— Но что же делает земство? — любопытствовал Илья Петрович. — Отчего мало докторов, почему нет медикаментов?

— Денег нету-с. Оттого и докторов нет, что денег нету. Народ мы дорогой, жалованье нам немаленькое, а обкладать-то уж нечего: земли обложены, леса обложены, купчина защищен нормой, а доколе норма оставляет его на произвол судеб, и купчина обложен...

— Но бюджет, кажется, очень велик.

— Это вы, батенька, справедливо сказали: бюджет велик. Но вы знаете, скрлько одних канцелярий на шее этого аппетитного бюджета? Изрядно, голубь вы мой. — И доктор начал откладывать пальцы: — Управская — раз,

съезд мировых судей — два, крестьянского присутствия — три, воинского присутствия — четыре, училищного совета — пять...

— Но ведь это можно бы изменить, сократить...

— Эге, вы вона куда! Вы зачем же, любезнейший, в теорию-то улепетываете? Вы не улепетывайте, а держитесь на почве. Почва же такова: обязательных расходов *сорок два процента* — понимаете ли: о-б-я-з-а-т-ель-ных! — администрация и канцелярии («Приидите и владейте нами», — в скобках пошутил он) *двадцать два процента*; ремонт зданий, страховка и расширение оных — *шесть процентов*...

И Тутолмин ясно увидел, что если «не улепетнуть в теорию», то и земство не виновато.

— Но тогда уж возвысить бюджет придется, — нерешительно сказал он.

— Тэ, тэ, тэ!.. Это, другими словами, налоги возвысить? Превосходно-с. В высшей даже степени превосходно и просто. У меня и то есть один благоприятель, — великолепно он так называемый вопрос народного образования разрешает: собрать, говорит, по рублю с

души единовременно — и гуляй душа!.. Батюшка вы мой, в том-то и штука, что повышай не повышай — толку не будет. Только счетоводство одно будет... Недоимка одна сугубая...

— Но в таком случае как же вы хотите обойтись без теории, — заволновался Илья Петрович, — вспомните «народоправства» Костомарова... в Новгороде, например...

— А, это другое дело! — с протодушным лукавством произнес доктор. — Поговорить мы можем. Поговорить мы всегда с особым удовольствием... Ну что, что там у Костомарова?.. Я, признаться вам, батенька, не токмо так называемых «книг светских», «Врача» уже третий месяц в глаза не вижу. А что касается ученых каких-нибудь сочинений, то перед богом вам клянусь — не виновен с самой академии.

И точно, «теоретический» разговор, который затеял было Илья Петрович, погас чрезвычайно быстро.

— Вы лучше расскажите, какова барышня у вас в Волхонке? — вымолвил доктор, преодолевая зевоту. — Говорят, чистейший ма-ньифик. Вот бы, канальство, посвататься!.. Я,

батенька, выискиваю-таки бабенку. Скучно, знаете. Дела — гибель, а приедешь домой, и позабавиться нечем. То ли дело мальчуганчика бы эдакого завести или девчурку...

Тутолмина покоробило: он не ожидал таких признаний от добросовестного земского работника. Отсутствие «принципов» в этом работнике смертельно оскорбило его. «Затирает! — подумал он с горечью и невольно сравнил Гиппократа с Захаром Иванычем. — И буржуя моего затрет, — мысленно продолжал он, — и выищет он себе манерную самку, и наплодит с ней краснощеких ребятишек... Эх, болото, болото!» Но когда показалась Волхонка и засинело волхонское озеро, мысли Ильи Петровича изменили грустное свое настроение. Он подумал о Варе: «Эта не самка! — чуть не произнес он вслух, внезапно охваченный чувством какого-то горделивого довольства, — мы не изобразим с ней мещанского счастья...»

Однако же в деревне Тутолмину снова пришлось изменить свое мнение о Гиппократе. Этот «пошловатый» человек (как об нем было уже подумал Илья Петрович) с такой

внимательностью осматривал больных, так безбоязненно обращался среди вони и грязи, до того ясно и быстро устанавливал дружественные отношения с крестьянами, что Туттолмин опять почувствовал к нему глубокое уважение. Это уважение еще усилилось, когда Гиппократ наотрез отказался заехать в усадьбу и настойчиво заспешил в ближнюю деревню, где свирепствовал дифтерит. Илья Петрович только в недоумении посмотрел на него: он никак не мог помирить такое самоотвержение с отсутствием «принципов». «Может, скрывается?» — предполагал он, задумчиво шагая по направлению к усадьбе (экипаж он уступил доктору), но тут же вспомнил бесхитростный облик доктора и снова повергался в недоумение. «Э, ну его к черту! — наконец воскликнул он, подходя уже к самому флигелю: — Явно разбойник, буржую моему подобен...» И любовное отношение к доктору, смешанное с какою-то раздражительной досадой, окончательно установилось в нем.

Захар Иваныч только что возвратился с

поля, и Тутолмин, захватил его за какими-то длинными выкладками. Они повидались.

— Вот, Илья, сила-то грядущая! — вымолвил Захар Иваныч, откладывая карандаш.

— Какая такая? Уж не та ли, что щедринский помещик изобрел: сама доит, сама пашет, сама масло пахтает?.. — иронически отозвался Илья Петрович.

— Э, поди ты... Я тебе о Лукавине говорю.

— Аль приехали?

— Приехали. Ну один-то не по моей части: он, кажется, все больше по части художеств — Варваре Алексеевне все ручки лижет...

— Что ты сказал? — переспросил Тутолмин, внезапно ощущая какую-то сухость в горле; и когда Захар Иваныч повторил, какая-то жесткая злоба поднялась в нем. — Ну, а другой что лижет? — грубо произнес он.

— Э, нет, брат, другой не из таких. Другой не успел еще путем оглядеться, как со мной все поля обрыскал. Сметка, я тебе скажу! Взгляд! Соображение!

— Еще бы! Ты, поди, растаял. Эх, погляжу я на тебя.

Но Захар Иваныч не обратил внимания на укоризненный тон Тутолмина.

— Ты посмотри на этот проектец, — возбужденно заговорил он, снова подхватывая лист бумаги и быстро чертя по нем карандашом. — Это, например, сахарный завод. Вот затраты: это — оборотный капитал; это — убытки от превращения севооборота... это вот отбросы...

— Так, — саркастически вымолвил Илья Петрович, — значит, тебе мало «одров», ты еще настоящую фабрику вздумал воздвигать...

— Не фабрику, Илья...

— Завод. Это все равно. Тебе мало твоих ба-трацких машин, ты еще всю окрестность хочешь заразить фабричным ядом... Ты хочешь вконец перегадить нравы, опоганить народное мировоззрение, расплодить сифилис... Подвизайтесь, Захар Иваныч!

— Как же ты не хочешь понять, Илья, — корнеплоды необходимы. Ты посмотри: нынче гессенская муха пшеницу жрет, завтра — жучок, послезавтра — червячок какой-нибудь... Помилуй! Ведь нас силой загонят в

корнеплоды... Так лучше к этому порядку вещей приготовиться. А скот! Ты посмотри, нам ведь его кормить стало нечем...

Но Илья Петрович сидел неподвижный и угрюмый.

— Действуй, — с злобой говорил он, — поступай к Лукавину в рабы. Давите народ, Захар Иваныч, поганьте его!.. Надолго ли? Посмотрим, милостивейший государь.

Захар Иваныч рассмеялся.

— Ну, чудак ты, — сказал он. — А к Лукавину я действительно мог бы поступить. Ты знаешь, какая штука: он меня сегодня отводит и говорит: берите с меня три тысячи целковых, почтеннейший, и покидайте вашего маркиза...

— Как это благородно! — воскликнул Илья Петрович.

— Ах, кто тебе говорит о благородстве, — в некоторой досаде возразил Захар Иваныч, — тебе говорят, какова сила...

— Наглости?

— Нет, — сообразительности, смекалки, милый мой. Я, разумеется, пойти-то к нему не пойду...

— А следовало.

— Не пойду, — повторил Захар Иваныч, — а завод с его помощью как-нибудь устрою. — И вдруг он ударил себя по лбу. — А знаешь, если бы ему жениться на Варваре Алексеевне! — воскликнул он.

— Опомнитесь, Захар Иваныч, — язвительно проговорил Тутолмин.

— Да ведь я как... Господи боже мой, — оправдывался Захар Иваныч, — я говорю в виде предположения. Я говорю, если бы она полюбила его... и вообще...

— Что между ними общего! — закричал Тутолмин яростно на Захара Иваныча.

— Как что?.. — в изумлении произнес Захар Иваныч. — Богат, красив, — он очень красив... Ты-то что, Илья! Граф какой мозгляк перед ним, а и то она тает. Барышня, брат...

— Что барышня? — внезапно опавшим голосом спросил Илья Петрович.

— Да вообще...

— Вообще подлость, — резко перебил Тутолмин и, шумно поднявшись с места, ушел в свою комнату.

А Захар Иваныч никак не мог догадаться,

чем он так рассердил приятеля. Он подумал и тихо подошел к двери его комнаты.

— Илья, — сказал он, — Илья!..

— Что вам угодно? — ответил тот.

— Но ты не осмыслил вопроса, Илья; ты не обсудил его воздействий на крестьян, — вкрадчиво вымолвил Захар Иваныч, стоя у двери, — ты не сообразил всех польз...

— Я давно обсудил.

— Но ежели они будут садить корнеплоды...

— Я давно обсудил, повторяю вам.

— Но согласись, Илья...

— Я давно обсудил, что вы все тут трещотки и фарисеи! — раздражительно воскликнул Илья Петрович.

Захар Иваныч хотел было что-то сказать, но подумал и не решился. Он взял фуражку, взял лист бумаги с карандашом и вышел на цыпочках из комнаты. «И милый человек, — думал он, — а как от жизни-то отстал... Вот тебе и книжки!» — И, уютно поместившись на крылечке, старательно начал вычислять стоимость рафинадного отделения.

А Тутолмин лежал на постели, гневно пле-

вал в потолок и чувствовал себя очень скверно.

Вечером суровый и гладко выбритый человек в кашемировом сюртуке явился к Захару Иванычу и доложил, что «господа просят его пожаловать с гостем чай кушать». Илья Петрович было отказался. Но Захар Иваныч так просил его и вместе с тем так хотелось самому ему повидать Варю, что он не выдержал и напялил свой парадный сюртучок. Кроме сюртучка, он надел еще свежую рубашку отчаянной твердости и белизны и отчаянного же фасона: воротнички достигали до ушей. Но ему казалось, что это последнее слово моды, а он на этот раз не хотел ударить лицом в грязь.

Как же зато и вспыхнула Варя, когда он петушиной походкой вошел в гостиную. По обыкновению, она сидела около графа и внимала неутомимой его болтовне. При входе приятелей граф вопросительно посмотрел на нее. «Тутолмин...» — прошептала она, потупляя глаза и не подымаясь с места. «Боже мой, какие несчастные воротнички!» — восклица-

ла она мысленно. Произошло обоюдное знакомство. Илья Петрович тотчас же заметил смущение Вари и ее соседство. В горле у него снова пересохло; на лбу появилась неприятная морщина. А между тем он волей-неволей должен был присоединиться к ним: Захар Иваныч, как только вошел, сейчас же затеял разговор о заводе, и не только Лукавин, но даже Алексей Борисович стремительно пристали к этому разговору.

— Вы изволите участвовать в... — граф назвал журнал.

— Точно так, — сухо отчеканил Тутолмин.

Варя посмотрела на него удивленными глазами. И опять воротнички привлекли ее внимание.

— Если не ошибаюсь, я читал ваш очерк... — продолжал граф и упомянул заглавие очерка.

— Может быть, — с сугубой сухостью вымолвил Илья Петрович.

Но Облепищев или не замечал, или не хотел замечать этой сухости. Присутствие нового человека приятно возбуждало его нервы. Любезно наклоняясь к Тутолмину и с обыч-

ной своей грацией жестикулируя, он заговорил:

— Но всегда меня поражало это ваше пренебрежение к форме, простите... Это, разумеется, может составлять эффект; но, согласитесь, только в виде исключения. Знаете, исключение, обращенное в привычку, чрезвычайно надоедливая материя, — и поправился, мягко улыбнувшись: — Иногда! Иногда!

Тутолмин угрюмо молчал. Варя посматривала на него с беспокойством (его костюм уже переставал резать ей глаза).

— И к тому же новизна-то не приводится в систему! — продолжал граф, все более и более оживляясь. — Шекспир отверг классические образцы, но зато дал свой. Лессинг насмеялся над чопорными куклами Готтшеда, но написал «Эмилию Галотти...» Наконец, наш Пушкин... Да наконец совершенно в другой области искусства можно проследить это последовательное развитие форм. Мы имеем строго законченное архитектурное построение в форме Парфенона. Но раз форма эта приедается, — простите за вульгарное слово (Тутолмин язвительно усмехнулся), — не хижина зулуса

какого-нибудь появляется ей на смену, а римский свод. Этот свод, в свою очередь, уступает место готическому. Но с каждым разом мы видим систему: переход от строгой простоты греческого портика к узорчатым стрелам Кельнского собора ясен как серебро. Так же как ясен переход от «Капитанской дочки» к «Песне торжествующей любви». Но переход обратный, переход от Парфенона к хижине зулуса какого-нибудь, от самого *принципа* формы к полнейшей стихийности... Воля ваша!

— Вы где изволили обучаться? — быстро перебил его Илья Петрович. Варя встрепенулась в испуге. Граф в изумлении посмотрел на него.

— В пажеском корпусе, — сказал он.

— И по заграницам ездили?

— Путешествовал...

— Бывали в музеях, видели Мадонну Сикстинскую, Венеру в Лувре?

— Видел... Но я не понимаю...

— И языками владеете? В подлиннике Шекспира читаете? Декамерон, поди, штудируете на сон грядущий? Римские элегии изу-

чаете...

— Простите, но я...

— Отлично-с, — резко остановил его Тутолмин, — а я, смею доложить вашему сиятельству, сын стряпчего, — знаете, взяточники такие существовали в старину, — а учился я у дьячихи... А в университет пешком припер, с родительским подзатыльником вместо благословения. Да университета-то не кончил по случаю голодухи, ибо на третьем курсе острое воспаление кишок схватил от чухонских щей... В детстве читал «Путешествие Пифагора» да сказку про солдата Яшку-красную рубашку, — вашему сиятельству неизвестна такая?..

— Все, разумеется, имеет *raison d'être*[17] ...— начал было явно опешенный граф.

— Но граф и не думает винить вас, Илья Петрович... — вмешалась Варя.

— О, я и не воображал в вашем доме встретить прокурора, мадмуазель, — язвительно произнес Тутолмин, — я только имею интересный вопрос к его сиятельству...

— Чем могу служить? — с преувеличенной вежливостью вымолвил граф. А Варя надмен-

но закинула головку: она глубоко негодовала.

— Служить-то вы мне ничем не можете, — бесцеремонно сказал Тутолмин. — Я только хотел вас спросить: отчего это все вы, изучающие Мадонн и Шекспиров, предпочитаете курорты навещать, а не являетесь в литературу?

— Но странное дело, таланты...

— Что до талантов! Хотя бы принцип представляли. Принцип изящной формы. Мы, глядишь, посмотрели и усвоили бы его... А то ведь нам не то жратву добывать (граф сделал гримасу; «Извините за вульгарное слово», — с насмешливым поклоном заметил Тутолмин), не то «сущность» ловить, где-нибудь в самой что ни на есть «бесформенной» деревушке... Где уж тут до Парфенона-с!.. А вы бы нас и научили, изящные-то люди...

— Но у вас есть образцы...

— Есть, это верно. А если...

— Но вы не понимаете своих выгод, — сказал граф, — вы выходите на битву без лат... Вы забываете, что форма то же оружие... Гейне...

Тутолмин встал во весь рост.

— Выхожу с открытой грудью и горжусь этим, ваше сиятельство, — почти закричал он, — мне некогда было сковать мои латы, да еще вопрос: пригодны ли они для нашей битвы... Но я не шляюсь по курортам... не изнываю по музеям в томительной чесотке... не транжирю мужицких денег на так называемое «покровительство» изящных искусств, до которых мужику такое же дело, как нам с вами до китайского императора...

Варя с упреком посмотрела на него. Тогда он круто оборвал и раздражительно взялся за шапку.

— До свиданья-с! — проронил он.

— Куда же вы? — воскликнули все хором. Один граф молчал и обводил его растрепанную фигуру юмористическим взглядом.

— Не могу, у меня есть дело, — охрипшим голосом вымолвил Илья Петрович и, неловко поклонившись, направился к выходу. Варя вдруг стало ужасно жаль его. Она наклонилась к графу и, прошептав ему несколько слов (из которых он понял, что ей до конца хочется соблюсти долг любезной хозяйки), поспешно догнала Илью Петровича. Он уже на-

тягивал пальто. В передней никого не было.

— Милый мой, что же это такое? — в тоскливом недоумении воскликнула Варя, бросаясь к нему. Он грубо отвел ее рукой.

— Ступайте! Поучайтесь у этой шоколадной куклы изящным искусствам! — задыхаясь от гнева, сказал он.

Варя побелела как снег.

— Илья! — воскликнула она с упреком. Но он сердито распахнул дверь и скрылся. Варя стояла подобно изваянию. Все в ней застыло. И холодное, тупое, жестокое настроение медленно охватывало ее душу. Она провела рукою по лицу; хотела вздохнуть, улыбнулась блуждающей и недоброй улыбкой и тихо возвратилась в гостиную. «Как ты бледна, моя прелесть!» — сказал граф, когда она с какой-то осторожностью села около него. Но она взглянула на него рассеянным взглядом и ничего не ответила. Руки ее холодели.

XIV

Тутолмин разделся и решительно развернул «Отечественные записки». Но дело не пошло на лад: интересная статья как-то туго и тяжело влезала в его голову. Маятник, равномерно стучавший в соседней комнате, ужасно мешал ему. Он закрыл уши и снова начал страницу. Но мысли его улетали далеко от экономических данных, представляемых статьей, и сердце беспокойно ныло. Тогда он с досадой бросил книгу и порывисто заходил по комнате. Злоба душила его. Он с каким-то едким наслаждением представлял себе красивое лицо графа, повергнутого в недоумение. И все в этом графе возбуждало его ненависть: и манеры, и мягкая любезность, и меланхолическое очертание губ... И он преувеличивал в своем воображении эти особенности, доводил их до карикатуры, до шаржа. Он представлял графа в виде паршивенького петиметра, в виде приторного пастушка из французских пасторалей времен Людовика XV... Но от этих представлений он круто и с какой-то стремительной поспешностью перешел к Варе. И до-

сталось же несчастной!.. Он громоздил на ее бедную голову целую лавину обвинений. И ее изысканный костюм, и ее видимое благоволение к графу, и ее смущение при появлении Туттолмина — все ставилось ей в счет. Он не знал, как заклеить ее поведение... Нелестные наименования ежеминутно срывались с его языка и необузданно будили мертвую тишину уютной комнатки. Он не мог простить себе те разговоры, которые вел с нею, ту «идиотскую» растрату времени, которую допустил ради поучения этой «либералки»... О, теперь он отлично видит, что дело заключалось в романических изнываниях. Все остальное служило лишь фоном для этих изнываний... «Прекрасно! — в ярости восклицал Илья Петрович. — Превосходно! В высшей даже степени великолепно, почтеннейший господин Туттолмин!» — и он с азартом обрушивался на свою особу. Не было того яда, который он не излил бы на себя. Не существовало таких унижительных сравнений, которыми он не воспользовался бы при этой безжалостной расправе. Не находилось таких презрительных прозваний, которыми он не обременил бы

«свое ничтожество». С какой-то ненасытимой жадностью он переворачивал свою память и выкладывал ее содержимое для пущего уязвления «своих поползновений». И Онегин-то, и Печорин, и Рудин, и Агарин — проворно вылезали оттуда и с коварными гримасами поспешали на прокурорскую трибуну, откуда стыдили и дразнили Илью Петровича сходством своих походов с его отношениями к Варе... Голова его пылала. По спине ходили иглы.

Он бросился на постель и уткнулся лицом в подушку. И долго ни одной связной мысли не появлялось в его горячей голове. Он только чувствовал какое-то бессмысленное и беспоконное угнетение. Сердце его ныло с тупой болью... Но мало-помалу волнение утихало; злоба исчезала, обессиленная наплывом тяжелой усталости... И он ясно вообразил Варю в тот миг, когда она подбежала к нему в передней. Тогда что-то вроде укора совести шевельнулось в нем. Он стал рассуждать сухо и правильно. Правда, он не обвинял себя; он не брал назад презрительных наименований, данных им девушке во время раздражения...

Но в нем выросло и стало во весь рост сознание глубокой и страстной любви к ней. «Это факт, — произнес он громко, — и с ним надо считаться... Но нужно вырвать ее из этой экзотической гнили; нужно решительно и раз навсегда вывести ее на прямую дорогу...» — и он, почти успокоенный, встал и твердой рукою написал ей письмо.

«Варвара Алексеевна! — гласило письмо. — Я не признаю шуток в серьезных вещах. Наши с вами отношения я считаю вещь серьезной. Играть в нервы, а тем паче раздражать чью-либо экспансивность, моего согласия нет. А так как наши отношения в вашем салоне именно таковы, что могут только потворствовать этому раздражению и этой игре, и так как по этому пути мы, может быть, зашли слишком уже далеко, то, я думаю, было бы уместно: игру прекратить и заявиться перед разными салонными пряниками в подлинном своем виде. Для этого благоволите разрешить мне говорить вам „ты“ уже не под сурдинку, а как и подобает взрослым людям — громко и ясно. Конечно, есть и

иной выход: я бы мог сделать вам так называемое „предложение“, а вы — принять его. Но дело в том, что я считаю очень разумным наше прежнее решение: не сходитьсь до тех пор, пока вы не взглянете жизни прямо в глаза, то есть не изведаете ее нужд и ее прозы, а потому и „обычный“ выход нахожу неподходящим. Жду ответа. Илья Тутолмин».

Разыскав Алистрата и отправив с ним письмо, Илья Петрович совершенно успокоился. Правда, он все-таки не взялся за статью в «Отечественных записках», но улегся на кровать и начал мечтать. Он воображал себе Варю без всяких «барских свойств». Умная, красивая, развитая, в простеньком темном платье — она сидела в кругу его друзей и, дельно аргументируя, отстаивала его заветные мысли о мировом значении русских бытовых форм и об устойчивости крестьянских общинных идеалов... Дальше она представляла ему в заманчивой простоте деревенской обстановки, среди ребятишек и баб, ведущих нескончаемую беседу... И сердце его теплилось тихо и спокойно.

Вошел Алистрат. Тутолмин протянул руку... В конце его собственного письма стояло смутно и неразборчиво: *Мне надо говорить с вами. Приходите утром в березовую аллею.* Тутолмин еще раз прочитал... И какое-то неясное чувство страха стеснило ему сердце.

Длинные тени лежали еще на росистой траве, когда Илья Петрович появился в березовой аллее. Озеро дымилось. Солнечные лучи червонным золотом сквозили чрез деревья. Было свежо. Березы издавали крепкий запах. Тутолмин сел на пень, подобрал сухой сушочок, валявшийся на дороге, и в задумчивости начал чертить им по песку. Где-то вблизи неутомно стрекотала сорока. «И на что ей понадобилось это свидание?» — думал Илья Петрович, и снова неясное ощущение страха обнимало его. Но он как бы отклонялся от этого ощущения, как бы убегал от него... Он вспомнил первое свое знакомство с Варей, ее удивленное личико при его внезапном появлении, ее шаловливую улыбку после, во время представления... Он представлял себе подробности их сближения, разговор в шараба-

не, сцены на поляне и на озере... И хорошо ему делалось. И не хотелось ему думать о вчерашнем вечере, об этой загадочной приписке к его письму, о свидании... «Точно в романе!» — мысленно произносил он и улыбался с деланной насмешливостью; а чувство страха опять надвигалось на него смутной и неопределенной тенью.

Вдруг послышался легкий шорох... Тутолмин вздрогнул и поднял голову. В двух шагах от него стояла Варя. Она неподвижно смотрела на него и была печальна. Белый платок обрамлял ее бледное личико; под глазами темнелись круги. Илья Петрович бросился к ней.

— Здравствуйте, Илья Петрович, — тихо вымолвила она и опустила глаза.

Тутолмин в тревожном изумлении посмотрел на нее.

— Что с тобой, моя дорогая! — воскликнул он, взяв ее за руку. Она было попыталась освободить эту руку, но после легкого усилия оставила ее в руке Тутолмина. — Что с тобой, — продолжал он, — или ты рассердилась на глупую мою выходку?.. Но, милая моя...

— Я вас прошу говорить мне «вы», Илья

Петрович, — едва слышно произнесла Варя. Илья Петрович бессильно выпустил ее холодную руку.

— Что это такое? — прошептал он в ужасе. Тогда она взглянула ему прямо в лицо и заговорила с какой-то нервической поспешностью:

— Я вам пришла сказать... Я пришла... Я долго думала, Илья Петрович... Но я вас не люблю... Я вас очень, очень уважаю, но я не могу вас любить...

Тутолмин с горьким стоном отошел от нее.

— За что же это? — с изумлением проговорил он и, не дождавшеь ответа, рассеянно приложил ко лбу руку. — За что?.. — повторил он тихо.

Варя хотела говорить и не могла: рыдания душили ее. Она больно прикусила губы и отвернулась. Но она не могла бы сдвинуться с места: ноги ее, казалось, окаменели.

— Но зачем же вы признавались мне в вашей любви? — спросил Тутолмин.

— Я не лгала, — отвечала девушка.

Он усмехнулся.

— Но вы хотели быть моей женою, — ска-

зал он.

— Я преувеличивала, — прошептала Варя. Тутолмина передернуло.

— Вы *преувеличивали?* — язвительно и длинно протянул он. — С которых же пор вам стало ясно это «преувеличение» — до его сиятельства или после?

Глаза девушки гневно засверкали. Она выпрямилась.

— Вы можете оскорблять меня, — произнесла она.

Тогда Илья Петрович склонился как подкошенный и беспомощно, истерически зарыдал. Неизъяснимая тоска изобразилась в лице Вари. Она стремительно бросилась к Тутолмину и вдруг как бы заглодела вся и судорожно стиснула свои руки.

— Я не люблю вас! — повторила она твердо и выразительно.

Тогда он распространился в мольбах. Он заклинал ее подумать, не делать опрометчивого шага под влиянием случайного раздражения, не возводить минутного настроения на степень факта, бесповоротно решающего судьбу... Он молил ее подождать, помедлить,

он жадно прикивал к ее рукам, мокрым от его слез и холодным; он называл ее милою, дорогою, радостью, счастьем, любовью... А она стояла немая и недвижимая, как мрамор, и с тоскливым отчаянием смотрела вдаль. Солнце подымалось. Косые его лучи бодро и весело пронизывали аллею. Березы стыдливо румянились. В роще щебетали птицы, кропинки росы сверкали как раздробленный хрусталь. Душистая прохлада расплывалась непрерывными волнами и ласково веяла ей в лицо. А сердце ее не растворялось и в голове бродила мгла.

— Ты не спеши, не надо спешить, — говорил Туттолмин голосом, поминутно прерывавшимся от волнения, — ты погоди... Ты всмотришься в меня, моя красавица... Узнай меня поближе... Не обращай внимания на эту проклятую шероховатость мою... Смотри ты глубже... Зачем же прельщаться лаком!.. Не забывай моей сущности... Не забывай идей, которые я представляю... Пойми, что счастье твое только в них... Ведь ты же не пойдешь, не можешь пойти по следам Алексея Борисыча?.. Ведь правда? Ведь не удовлетворят же тебя

красивые картинки?.. Счастье мое, родимая моя... О, скажи же мне, скажи...

Варя тяжело вздохнула и с грустью покачала головою.

— Что же я тебе скажу? — тихо произнесла она. — Нечего мне тебе сказать... Дорогой ты мой, не волнуйся ты, береги себя... Ты нужен, ты полезен...

— Но я ответа прошу... — со стоном вымолвил Туттолмин.

— Не люблю я тебя, не могу любить, — печально сказала Варя. — Помнишь, с той сцены на поляне, — она покраснела в смущении, — я тогда не смогла решить, но я тогда же подумала... Дорогой ты мой, как мужа не могу я тебя любить... Я вот как виновата перед тобой — я поступила бесчестно, я это знаю... Но я теперь не могу лгать.... Простите меня, — она заплакала, — если бы вы знали, что со мною было... Я убить себя хотела — я не знаю, как я пережила эту ночь... Я ведь только с вашей записки поняла, что совсем, совсем не люблю вас... И вы не подумайте — я никого не люблю. Выше вас я никого не знаю. Но... друг мой, брат мой, милый мой брат, я

никогда не буду твоей женою... Пойми же ты меня!.. Если бы вы сказали мне пойти и умереть, о, я бы с радостью умерла. — И воскликнула с блистающими глазами: — Ах, укажите мне дело, за которое я могла бы умереть!

А Илья Петрович только вздрагивал как бы от ударов да замирал в тупом и холодном отчаянии. Он ясно видел, что все его надежды разлетаются дымом. Он прекрасно сознавал, что справедливость, по крайней мере теперь, вся на стороне Вари и что давно пора было отдать себе строгий отчет в этих романических отношениях — и все-таки не мог успокоиться. И бешенство в нем подымалось, и страсть кипела неукротимым ключом, и оскорбленное самолюбие заявляло свои притязания... При последних словах девушки он встрепенулся.

— С музыкой? — насмешливо спросил он; и когда она не поняла, добавил: — Нет у меня в распоряжении такого дела, Варвара Алексеевна. Мое дело жизни требует, а не смерти. Самой что ни на есть прозаической жизни. Без барабанов...

— Я не понимаю тебя, — сказала она, поглядев на него в недоумении.

— Глупо делали и прежде, что барабанили, говорю, — вымолвил Туттолмин. — Христос без барабанов победил мир.

— Но он умер на кресте, — живо произнесла Варя.

— Не следовало.

— «Есть времена, есть целые века», — в каком-то восторге сказала она, —

*В которые нет ничего желанней,
Прекраснее — тернового венка...*

— Но терновый венец и без барабанов может снизойти, — возразил Илья Петрович. — Я вот за доктором ездил: вживе терновый венец носит, а с виду сер и приискивает бабенку для забавы.

Перед Варей внезапно встала деревня с ее больными и с ее невыразимой грязью. Она вообразила этого «серого» доктора в бесконечной возне с этой грязью и не нашла что ответить. Она только в ужасе охватила свою голову и произнесла сквозь слезы:

— Никуда-то я, никуда-то не гожусь!

А в Илье Петровиче звуки ее голоса, беспомощно поникшего и переполненного стра-

хом, снова возбудили какую-то надежду.

— Славная моя девушка, — быстро и убедительно заговорил он, — не горюй, не убивайся... Разве наука, разве серьезное и любовное изучение народной жизни не так же светлы и ясны... Это в твоих ведь руках... Читай! Учись!

— Но не могу я одна!.. — вырвалось у девушки.

У Тутолмина дух захватило от радостного волнения.

— Любовь моя, — произнес ср замирающим шепотом. — Я твой... Ведь я весь твой!.. Пойдем рука с рукою вперед, как, помнишь, шли с той поляны... Всю жизнь свою...

Но она печально остановила его.

— Милый мой, я не могу лгать, — сказала она.

Тогда он посмотрел ей в лицо пристальным и мутным взглядом и внезапно упал духом. Какая-то странная кротость овладела им. Он медлительно протянул ей руку и про молвил:

— Простите, Варвара Алексеевна.

Она машинально подала ему свою, прошептала:

— Прощайте, простите... — Но когда он повернулся и, понутив голову, пошел от нее, все существо ее заняло в невыносимой жалости. — Илья Петрович! Илья!.. — слабо вскрикнула она. Но он не возвращался. Тогда она схватилась за сердце и тихо охнула. Солнечный луч горячим пятном ударил ей в лицо. Ласточка стремительно влетела в аллею и едва не коснулась крылом ее платья. Где-то закуковала кукушка... Варя осмотрелась в каком-то изумлении и направилась к дому. Лицо ее было строго и серьезно, глаза сухи. Взгляд — как-то странно внимателен... Но она ничего не замечала. Она с какой-то размеренной осторожностью шла и несла в себе что-то мертвое и мучительно холодное. Так, мимо балкона, мимо удивленной Надежды, сметавшей пыль с мебели в гостиной, прошла она в свою комнату. Там она собрала все книги, которые читала с Тутолминым, бережно завернула их и положила в дальний ящик комода. И когда задвинула этот ящик и подошла к окну, за которым ослепительно сверкал день и синеющая даль курилась без конца, — вдруг что-то как бы оборвалось в ней и загорелось

неизъяснимой болью. Она бросилась в кресло, в отчаянии заломила руки и зарыдала горько, тоскливо, неутешно...

Облепищеву привезли с почты письмо, получив которое он поморщился точно от боли. Письмо было от графини. «Правда, я привыкла к вашей неаккуратности, граф, — писала она по-французски почерком тонким и четким как бисер, — но я рассчитывала на исключение. Отчего вы не пишете мне: понравилась ли Варя Пьеру, и сделал ли он ей предложение. Не забывайте, что от этого брака зависит наше состояние. Лукиан Трифонович соглашается погасить наши закладные, если Pierre женится на вашей кузине. Вы, конечно, помните, как *много* вы содействовали возникновению этих закладных, и потому поймете, *что* честь обязывает вас сделать в настоящем случае. Если предложение состоится и будет принято — телеграфируйте мне так: *курсы повысились...*» Дальше шло неинтересное перечисление светских новостей.

Но граф и не читал дальше. Он бросил письмо и страдальчески улыбнулся. И долго сидел в глубокой неподвижности. Маленькие золотые часики с веселой торопливостью ти-

кали на столе. Бесчисленные баночки и флаконы значительно молчали, точно поверженные в раздумье. Бетховен в громаднейшем жабо меланхолически смотрел в пространство. Вокруг фотографии спящего Моцарта витали фантастические призраки... Мишель все сидел, потупя голову.

— Ничтожность, женщина, твое название! — наконец с горечью вымолвил он и подошел к зеркалу, внимательно посмотрел на выражение своего лица. Оно было мрачно и задумчиво. Тогда он, увлекаясь, стал в позу и картинно произнес словами Гамлета: «Быть или не быть!» — и как бы внезапно воспаленный внутренним жаром, продолжал патетически:

*...Вот в чем вопрос!
Что благородней? Сносить ли
гром и стрелы
Враждующей судьбы, или вос-
стать
На море бед и кончить их борь-
бою?
Окончить жизнь, — уснуть,
Не более! — И знать, что этот
сон*

*Окончит грусть и тысячи ударов,
Удел живых... Такой конец досто-
ин
Желаний жарких!.. —*

и с унылой решимостью добавил:

Умереть — уснуть!

Но после многозначительной паузы он поднял голову и, подражая Сальвини, которого видел в Милане, прошептал в тяжком недоумении:

Уснуть? — Но если...

И вдруг взгляд его упал на письмо графини. «Однако, черт возьми, нужно что-нибудь предпринимать!» — произнес он с озабоченным видом и потер лоб. Но в голову ничего не лезло. Он только вспомнил видимое равнодушие Вари к Лукавину, и что-то вроде удовольствия шевельнулось в нем. Но тотчас же он и упрекнул себя. «Боже, какой я эгоист!» — подумал он, припоминая свое сближение с кузиной, свои беспрестанные tête-à-tête[18] с нею; но тут же прибавил в виде извинения: «Но она такая пикантная!» И он вообразил ее

в сверкающей диадеме, в бриллиантах и кружевах, среди бесчисленных огней и блистательных пар, грациозно скользящих под звуки упоительно ноющего смычка... Вообразил ее на Невском в четыре часа, в облаках сияющего снега, взбитого копытами драгоценных рысаков, в соболях и тысячной ротонде... «Да, это ее сфера! — сказал он. Но упрямо отказывался представлять Пьера в качестве мужа Вари. — Это не муж, а просто аппетитная асигновка!» — вырвалось у него в порыве презрительной досады.

И он опять взялся за письмо. Внизу неинтересных новостей стоял *postscriptum*: «Дядю, я думаю, можно посвятить в наш проект: он настолько благоразумный человек, что поймет все выгоды этого брака. Но не забывай, что Pierre ничего не знает. Лукиан Трифонович говорит, что он Pierre'у писал „обиньяком“, — я, впрочем, не понимаю этого слова».

Облепищева точно откровение осенило. Он с веселым видом оделся и позвонил.

— Доложите Алексею Борисовичу, что мне нужно говорить с ним, — приказал он своему лакею, элегантному парню с лицом из па-

пье-маше и с rinse-nez на борту фрака.

Волхонский с интересом ожидал графа в своем кабинете. Он никак не мог придумать, на что тому потребовалось это рандеву. «Уж не денег ли нужно, — предполагал он, — дела их, кажется, весьма неважны, а сегодня сестра ему писала», — и решил дать, но не более тысячи рублей. Но когда Мишель вошел и в коротких словах сообщил ему «мечтания тапан, о которых она просила передать», Алексей Борисович приятно изумился. Он, правда, не показал своей радости и даже промолвил с небрежением:

— Но, мой милый, ведь они же костромские мужики!

Но когда Мишель стал доказывать ему, что, во-первых, — они не мужики, а Лукьян Трифоныч такое же «его превосходительство», как и воронежский губернатор, и что вообще при лукавинском многомиллионном состоянии эти устарелые толки о породе, по меньшей мере, не тактичны, — Волхонский внимал этим доказательствам с любовной готовностью.

— Но как Петр Лукьяныч? — спросил он.

— О, Pierre, несмотря на эту свою положительность, спит и видит себя в родстве с нами, — сказал граф.

— Да... — в задумчивости произнес Алексей Борисович, — и, кажется, это дело с заводом ему по душе... Но ты поговори с ним, мой милый! — добавил он и, когда граф вышел, так и расплылся в пленительных мечтах. В его воображении вставала галерея картин на манер Боткинской в Москве, о которой он вздыхал как еврей о земле обетованной (Третьяковская не удовлетворяла его европейским вкусом). Он представлял себе обширную залу в два света, всю сплошь увешанную произведениями Мейссонье, Белькура, Коллера, Макарта, Виллемса, Коро, Фортуньи... Затем мысли его уносились дальше. В Волхонку собирались туристы, художники, музыканты, литераторы. Все они находили приют в отеле, изящно и характерно отделанном в особом, «волхонском» стиле. Все они собирались вокруг Алексея Борисовича и устраивали пикники, беседы, *parties de plaisir*[19], — литераторы читали свои произведения, музыканты иг-

рали, художники рисовали в альбомах; скульпторы и те лепили маленькие статуэтки и оставляли их на память хозяину... И все с внимательнейшей чуткостью прислушивались к тонким замечаниям Алексея Борисовича и благоговейно поникали перед ним. Иногда в этом кружке появлялась Варя. Она вносила с собой пикантное и восторженное настроение. Изящная, великолепная, обворожительная, она повсюду зажигала сердца. Поэты слагали ей сонеты, фельетонисты описывали ее костюмы, художники писали с нее картины, музыканты посвящали ей серенады и вальсы...

Граф застал Лукавина за чтением газетных объявлений.

— Как тебе не стыдно! — воскликнул он.

— Чего стыдиться-то? — с недоумением произнес Петр Лукьяныч.

— Да кто же читает объявления?

— А что же, по-вашему, читать? (Несмотря на то, что Облепищев давно уж говорил ему ты, он все еще не решался следовать его примеру.)

— Ну, передовую статью, фельетон, хронику.

Лукавин тряхнул волосами.

— Что до хроники — я ее прочел, — сказал он. — А передовые статьи да фельетоны — неподходящее дело, Михайло Ираклич!

— Как неподходящее?

— Да так-с... Положительности от них никакой нет. В объявлении я что вижу: ежели продается карета, так уж она продается, сдается квартира по случаю — так сдается... А теперь вы возьмите фельетон ваш: вон какой-то барин за женский вопрос распинается. Ну и распинайся он до скончания веков, а все-таки по его не сделается. Так и в передовой статье: джут! джут!.. Джут, точно, дело интересное, да решит-то его господин министр финансов. Скажите же на милость, зачем я буду читать ее, эту передовую статью!

— Ну, логика, — усмехаясь, сказал Облепещев. — Как это ты с такой-то логикой да не женился до сих пор!

— И женюсь, — шутливо ответил Лукавин, — вот погодите: найду девицу, чтобы во семь пудов тянула, и сочетаюсь.

— И миллион приданого?

— Ну — миллион! С одним весом возьмем.

— Почтенный идеал, — насмешливо сказал граф и вдруг игриво ткнул Петра Лукьяныча в живот, — ведь балаганничаешь все, Пьерка, — воскликнул он, — смотри, не к туше пламенеет твое сердце, а к моей кухне!

Лукавин ухмыльнулся.

— Барышня важная, — вымолвил он, — не для нас только.

— Да ты бы приволокнулся?

Но Петр Лукьяныч даже несколько рассердился.

— Что городить! — сказал он. — Варвара Алексеевна принца ожидает.

— Напрасно ты, — совершенно серьезно возразил Облепищев, — я, по крайней мере, думаю, что ты ей очень нравишься.

— А разве она что-нибудь говорила? — живо отозвался Лукавин.

Облепищев засмеялся.

— Сказалось сердечко! — пошутил он (внутри же себя подумал: «Какой я, однако, пошляк!»).

— Вот что, Михайло Ираклич, — решитель-

но произнес Петр Лукьяныч, придвигаясь к графу, — будем говорить прямо: барышня мне больно по душе. Приданого мы не токмо с Алексея Борисыча — ему сахарный завод выстроим. Дело для нас пустяковое. И папаша не прочь. А с тобой (графа кольнула эта неожиданная фамильярность), с тобой мы сделаемся по-дружески: ежели понадобится кредитор на парижского Ротшильда, мы это и без папашаши устроим.

Граф оскорбился.

— Ты, Pierre, напрасно думаешь... — начал он.

Но Лукавин встал и по-приятельски ударил его по плечу.

— Будет толковать, — сказал он, — сочтемся — люди свои!

Тогда Облепищев пожал плечами и подумал: «А и в самом деле не стоит с ним церемониться!» Спустя немного он рассказал ему, что и Волхонский на их стороне и что все дело теперь только за Варей.

— Только! — насмешливо воскликнул Лукавин и озабоченно почесал в затылке. Облепищев же вышел от него скучный и взволно-

ванный и долго терзал рояль надрывающими звуками шопеновской мазурки.

XVI

Что-то странное совершилось с Варей. Она так весело болтала и шутила, так была оживлена и подвижна, когда вечером сошла в гостиную, что Алексей Борисович даже с удивлением посмотрел на нее. Но он не приметил особого выражения тупой и мрачной тоски, иногда появлявшейся в ее взгляде, и остался очень доволен: тот меланхолический вид тихой и романтической грусти, который ему некогда так понравился в девушке, теперь уже окончательно не подходил к его целям.

Впрочем, и на всех это Варино настроение подействовало очень хорошо. Все как-то вдруг сделались остроумны, и общий разговор закипел точно игристое вино. Один только Захар Иваныч был недоволен; как нарочно, он для этого вечера принес с собою чисто и красиво переписанный проект, в котором выгоды и удобства сахарного завода были изложены с вопиюще убедительностью. Чтобы предъявить его, он только ждал обычного разделения общества — когда граф уходил к

роляли и заводил с Варей нескончаемые разговоры, перемежая их длинным целованием ее рук, а Волхонский с Лукавиным присоединялись к Захару Иванычу. Но теперь нечего было и думать об этом разделении. «Эка разошлась!» — с досадой помышлял он, наблюдая за смеющейся Варей, которая расспрашивала Лукавина, как он, не зная английского языка, ездил в Англию. И Петр Лукьяныч, покинув вечную свою сдержанность и беспрестанно сверкая ослепительными своими зубами, как бы нарочно выдумывал комичные подробности, представлял в лицах мимические свои переговоры с извозчиком в Лондоне, смешно намекал, к какому неожиданному результату эти переговоры привели... А Алексей Борисович быстро подхватывал тему и вспоминал свои похождения в Венеции, свои попытки объясняться с гондольерами на языке Горация и Овидия Назона (по-итальянски он не знал).

Не отставал и Облепищев. С мечтательной улыбкой, составляющей странную противоположность пикантному предмету речи, он ворошил свои мадридские воспоминания;

рассказывал, как его едва не поколотил буйный тореадор, при котором он непочтительно отозвался о способности Сант-Яго Компостельского исцелять вывихнутые члены... Но и Захар Иваныч недолго сидел одиноким. Варя быстро посмотрела на него и спросила о здоровье парового плута. Это возбудило любопытство. Тогда Варя в забавных выражениях представила неудачу опыта, насмешки крестьян, жалостное смущение Захара Иваныча. И сама хохотала как безумная. Захар Иваныч оправдывался так же неповоротливо, как и ходил, и путался в фразах точно в тенетах.

Но Варя не дождалась окончания этих неуклюжих оправданий.

— Ах, *messieurs*, давайте танцевать кадрили! — воскликнула она и с лихорадочной поспешностью вскочила с места. Алексей Борисович запротестовал. Тогда она бросилась перед ним на колени и стала целовать его руки, умоляя.

— Но дамы... — слабо возразил Алексей Борисович. Она быстро вскочила и, представляя ему мешковатого Захара Иваныча, — произнесла:

— Вот, папа, твоя дама! — Затем, лукаво потупив взгляд, степенно подошла к Петру Лукьянычу. — Надеюсь, вы пригласите меня! — сказала она. Он с восторгом подал ей руку, и все отправились в залу.

В зале стояла тусклая полутьма: одинокое бра светило неверно и трепетно. Но когда Волхонский хотел было приказать зажечь люстру и канделябры, Варя воспротивилась. Эта громадная комната, по углам которой бродили сумрачные тени, как-то странно нравилась ей. Она точно в полусне скользила по паркету, чутко прислушиваясь к обворожительным звукам кадрили. И какой кадрили. Граф по своему обыкновению, взял какую-то немудрую тему и разнообразил ее прелестными отступлениями. Рояль под его пальцами то замирала и в каком-то заунывном упоении издавала едва слышные звуки, мягкие и вкрадчивые, то гремела ясно и отчетливо и переполняла сумрачную залу торжественным гулом. Варя скользила, подавала руки, садилась и временами в каком-то изумлении широко раскрывала глаза. Она как будто ничего не замечала. Ни аляповатые движения

Захара Иваныча, беспрестанно путавшего фигуры, ни утонченные манеры отца, ни самоуверенные приемы Лукавина, — ничто не возбуждало ее внимания. Она точно в тумане находилась. Зала раздвигалась перед нею и уходила в таинственное пространство. Звуки воплощались, уносили ее куда-то, медленно сосали ее сердце... И ей было жутко.

Вдруг быстро и мечтательно закружился темп вальса. Лукавин охватил Варю и горячо сжал ее руку. Она невольно склонилась к нему. Ей казалось, что у ней выросли крылья и что звуки поднимают ее в недостижимую высоту. И, упоенная каким-то неизъяснимо тоскливым восторгом, она понеслась в бешеном кружении. Перед ней мелькали свечи одинокого бра; над нею склонялся красивый силуэт ее кавалера; воспаленная ладонь его руки томительно и приятно жгла ее стан; тени убегали куда-то и надвигались в непрерывном колыпании. И ей казалось, что она погружена в какой-то длинный и фантастический сон, и неясная мысль о пробуждении мучительно угнетала ее душу.

Захар Иваныч смотрел на вальсирующих

и думал: «Эх, кабы он женился на ней: была бы Волхонка с заводом!» — и бесконечные поля, униженные свекловицей, представляли пред ним. Паровой плуг ворочал как иступленный. Вся окрестность садила корнеплоды. Свекловичные остатки упитывали чахлую мужицкую скотину. Гессенская муха летала, околевая без еды, и горько плакалась на Захара Иваныча... Волхонский не отставал в мечтаниях от своего управляющего; но ему грезилась не свекловица: ему казалось, что он под носом у Боткина перекупает драгоценный и чрезвычайно редкий экземпляр Фортуни.

Лукавин замирал в блаженстве. Он ни о чем не думал и не мечтал. Он только всем существом своим испытывал страстное желание обладать этой бледной красавицей, доверчиво склонившейся к нему на плечо, и чувствовал, что ради исполнения этого желания он в состоянии пренебречь всеми делами на свете. Кровь в нем клокотала буйно и настойчиво.

Граф же склонился над роялью и утопал в звуках. И все забыл он под влиянием дивного настроения, заполонившего его душу гармо-

ничными и звенящими волнами, — и проекты матери, и ее непреклонную волю, и закладные...

И закутила Волхонка. Не проходило и дня без танцев, без пения, без какой-нибудь увеселительной поездки или пикника с чаем и холодными закусками. В промежутке всем обществом съездили к бабушке и представили ей Петра Лукьяныча за какого-то князя Аракчеева. Старушка была ужасно рада и польщена и выложила перед воображаемым потомком знаменитого графа все свое благоволение. Она даже позволила своей любимой болонке (левреток она уже разлюбила) посидеть на его коленях, а это было чисто сверхъестественным исключением.

После этого визита ездили в ближний лес за клубникой. Потом опять принялись за танцы и музыку, рыбную ловлю и катанье на лодке. Варя, казалось, все силы устремила на то, чтобы чем-нибудь переполнить свое время. И действительно у ней не было свободной минуты. Она похудела. Но это очень шло к ней. Она избегала всяких «умственных» раз-

говоров, и causerie[20] свирепствовала в волхонском доме. Она не прикасалась к книгам, старалась не думать серьезно и чувствовала себя очень хорошо, когда после катанья и песен, после музыки и бурного вальса с Лукавиным или безумной скачки на Домби сон поспешно сходил к ней, глубокий и мертвенно-спокойный. Но иногда среди этой нервической и беспокойной суетни какой-то ужас посещал ее, и мутная мгла воцарялась в ее рассудке. Тогда она плакала по целым часам и ломала свои руки.

Но день ото дня эти посещения становились реже. Тутолмин не появлялся (он целыми днями пропадал в селе и в деревнях окрестности). Те впечатления, которые могли бы пробудить в ней «прежнюю Варю», она осторожно, хотя и бессознательно, обходила. Так в семье, где недавно похоронили покойника, невольно понижают голос. И мысли, поднятые в ней разговорами Ильи Петровича и его книгами, расплывались в беспорядке, уступали место тупой и равнодушной апатии, западали куда-то вглубь...

Зато она стала находить какое-то безотчет-

ное удовольствие в обществе Петра Лукьяныча. Его самоуверенная речь, пересыпанная характерными словечками, его заунывные русские песни и романсы, захватывающие душу, его молодечество и самообладание при самых рискованных положениях, — положениях, во время которых Мишель только куксился и расплывался в мечтательном резонерстве, — как-то странно тешили ее. Он напоминал ей богатыря народных былин, когда на лихом скакуне гарцевал по двору или с обычной своей усмешкой неожиданно отстранял пахаря где-нибудь в поле и, весело покрикивая «возле! возле!», разваливал сохой глубокую борозду. Она часто ездила с ним вместе, и верхом, и в шарабане, и на лодке, с которой тянулась тогда бесконечным стоном русская песня. Какая-то опора чудилась Варе в его крепкой и осанистой фигуре, и его твердый и решительный голос чрезвычайно благотельно действовал на ее нервы.

Приближался день рождения Вари — 27 июля. Еще задолго до этого дня длинные реестры полетели к Елисееву и Раулю. Madame Бриссак обеспокоена была заказом. Из Воро-

нежа выписали музыку и фейерверк. Ближним и дальним соседям разослали приглашения. Алексей Борисович на целые часы запирался в кабинете и чертил рисунки фонарей и транспарантов. Прислуга суетилась и чистилась. Захар Иваныч и тот принужден был оторваться от жнитва пшеницы и съездить в Воронеж, где взял у Безрукова три тысячи рублей до продажи хлеба. Он, впрочем, все-таки упорно не показывался в дом и с утра до ночи торчал около жнеек. Да об Илье Петровиче не было никакого слуха.

Лукавин же самодовольно поглаживал бородку и не спускал глаз с Вари. Временами на него находила какая-то необузданная потребность шири и простора: плечи его зудели, руки так и напрашивались на работу. Тогда он беспокойно метался в своей комнате или отламывал добрые десятки верст с ружьем за плечами. И удивительные планы роились в его голове. Ему хотелось чем бы то ни было поразить Варю, заставить ее окаменеть в изумлении, показать ей в полном размахе свою удаль-силу. В нем словно и впрямь просыпался какой-то Алеша Попович. Но к сожа-

лению, что бы он ни придумывал в этом роде, все отвергалось его верным советником Облепищевым. Так последовательно пали его планы: купить тройку диких донских лошадей и самолично объездить их для Вари («Фи! Что ты за кучер!» — протянул граф); выписать Варе от Фульда бриллиантовое ожерелье в сорок тысяч франков («Не имеешь права», — заметил граф); пригласить на несколько вечеров m-lle Зембрих из Мадрида в Волхонку («Ты сам здесь гость», — возразил Мишель); сжечь фейерверк в тысячу рублей (на это Облепищев только пожал плечами)...

Тогда Петр Лукьяныч, негодуя, размышлял о глупости «всех этих бар», добровольно опутавших себя целою сетью приличий и условных отношений. И что-то вроде презрения к ним шевелилось в нем. Но он усмирлял свои порывы, утомлял себя ходьбой и движениями и с обычной своей смышленостью рассчитывал удобный момент для того, чтобы сделать предложение. С отцом он уже списался и получил от него самые широкие полномочия. Лукьян Трифоныч только приказывал уведомить его вовремя, чтобы он мог приготовить

салонные вагоны для путешествия молодых за границу.

Граф тоже сообщил матери, чтобы она со дня на день ожидала желаемую телеграмму.

XVII

День 27 июля не был праздничным днем. Но по селу еще с вечера повестили, что по случаю рождения барышни народ приглашается на обед и угощение. Благодаря этому в полдень весь барский двор был запружен разряженными бабами и девками и несметное количество мужиков толпилось около тазов с водкой. Столы тянулись в несколько рядов. Горы ситного хлеба и калачей возвышались на них.

Народ вел себя чинно. Песен еще не было слышно. Разговоры происходили втихомолку. К вину подходили, точно обряд совершали — степенно и серьезно. Выпивали с деловым выражением лиц и, медлительно утираясь полою, рассаживались за столы. Иные многозначительно вздыхали. Бабам и девкам водку подносили за столом. Тут много было упрямиваний и стыдливых закрываний рукавом, но в конце концов стаканчики все-таки опоражничивались до дна и легкое возбуждение сказывалось в лицах.

Мокей, в силу прежнего своего прожива-

ния в усадьбе, моментально определил себя в подносчики и, немилосердно гремя новой рубахой, как-то невероятно растопыренной, важно расхаживал около столов с громадной бутылью под мышкой. От времени до времени он не забывал и себя. «Гляди-ко-с, девушки, шильник-то бахвалится!» — шептали бабы, указывая на Мокея, но когда он подходил к ним с заветной бутылью, лица их расплывались в улыбки и речи становились ласковы.

— С коих пор в целовальники-то определился? — насмешливо спросил его Влас Карявый, медленно уплетавший жареную баранину.

— Ай завидки взяли? — ответил Мокей и молодцевато тряхнул волосами.

— Как не завидки: чай, под мышкой-то мозоли насмыгал.

— Мозоли не подати — за ночь слезут.

— Ну, брат, это что пара — подать без мозоля не ходит.

— На дураков.

— Известно — умники в неплательщиках состоят, — с иронической кротостью произнес Влас.

— Да и умники!
— За ум-то их и парят по субботам.
— Парят, да продавать нечего.
— Не сладок и пар.
— Горек, да выгоден.
— Иная выгода — жгется, малый!
— То и барыш, коли морда в крови.
— А ты, видно, падок на барыши-то на эти?..

— Об нас, брат, сказки сказаны: для нас в конторе углы непочаты.

— А много нацедил в конторе-то?

— Хватит!

— Э! Собаки-те ешь! Ну, наливай... Видно, и впрямь ты шильник!

Около них раздавался сдержанный смех. Соседи захлебывались от удовольствия и в изумлении покачивали головами.

«Эка, брёхи!» — произносили иные в радостном восторге. А Мокей и Влас корчили серьезные лица и были чрезвычайно довольны друг другом. Мокей, засучив рукав, хмурился и до краев наполнял стакан. Влас же с видом жестокой основательности опрокидывал его в рот и снова принимался за баранину.

— Пейте, девки! Ноне барышня родилась, — балагурил Мокей в другом месте. — Вам радость, а мне горе.

— Какое тебе горе?

— Какое! Вам в поле да жать, а мне утресь опохмеляться идти. Кабатчик и то должок за мной считает: тринадцать шкаликов с петрова дня не выпито. Да мне что! Тринадцать шкаликов — тринадцать песен. Мы ноне купцы: иные которые бабы глотку дерут, а мы в мешок да в Питер. Товар сходный!

— О, чтоб тебя!.. — восклицали девки и, тихо пересмеиваясь, церемонно жевали калачи. Но многие угадали намек Мокея.

— И чуден этот барин, родимые мои! — произнесла одна молодая бабенка, когда Мокей прошел далее.

— Какой?

— Да вот что песни-то у шильника покупает.

— Это Петрович?

— Петрович. Намеднись я так-то вышла стадо встречать, а он пристал: «Ты чего, говорит, в руках держишь?» А я хлеб держу. «Хлеб», — мол. «На что хлеб?» — «Буренку

привечать.» — «А речами, говорит, привечашь?» — «Привечаю», — мол. И пристал: расскажи да расскажи ему...

Бабы в удивлении разинули рты.

— О-о-о! — удивленно воскликнули они и спрашивали в торопливом любопытстве: — Что ж, рассказала?

— Да чего я ему, оглашенному... Я говорю, ты, мол, уйди от греха: а то он-те, Васька-то, выйде!..

Вдруг пожилая и степенная баба перебила рассказчицу:

— Это ты, лебёдка, напрасно, — сказала она. — Он тебе не токмо — крохотную какую, бывает которая крохотная, — и ту не обидит.

Рассказчица несколько сконфузилась.

— А он что пристал как оглашенный... — невнятно возразила она; но пожилая баба не слушала ее; возвысив голос, она продолжала:

— У меня мужик-то захворал, — захворал он, милые мои, а моченьки-то моей и нету с ним вожжаться. Так он что, Петрович-то! Возьмет придет к ему в клеть, к мужику-то моему, придет и сядет. Я в поле уйду, а он и воды ему, и чайку припасет, и к голове лопух,

к примеру... Нам за него бога молить, за Петровича-то, а ты вон какие речи... — И она с упреком посмотрела на легкомысленную бабенку.

— Моего Митрошку грамоте обучил! — подхватила другая.

— Ох, бабочки, от порчи лечит! — воскликнула третья. — У нас тетку Химу как корежило; чуть что, сейчас это ее поведет, поведет... бьется, бьется она... А теперь она забьется, а он ей порошок такого; она затрепыхается, а он ей в ложку да в рот... Здорово помогает!

— Вроде как квасцы? — с живостью спросила четвертая и, не дождавшись ответа, затараторила: — Давал он мне. У меня как помер Гришутка, болезные мои, — помер он, и ну меня поводить, и ну... Все сердечушко изныло. Я ли не плакала, я ли не убивалась... Бывалоче, бьюсь, бьюсь... Только Петрович приходит к Мирону. Мирон и говорит: «Вот, бабе подеялось». Ну, он и дал мне тут... Так что ж, родимые вы мои, свет я тут взвидела, какой он такой свет белый бывает!

С бабьих столов разговор об Илье Петровиче дружным и сочувственным рокотом пере-

шел к мужикам.

— Кто? Петрович? — спросил Карявый и хотел уж было, по своему обычаю, прибавить едкое словечко, но подумал и вымолвил решительно: — Петрович парень важный.

— Намедни как ловко мне расписку с старшиной написал, — сказал один.

— Человек с расчетом! — важно произнес другой. Третий рассмеялся и покачал головою.

— Чудачина! — проговорил он, как бы обессиленный наплывом веселых воспоминаний, но больше ничего не сказал, ибо получил в ответ сдержанное молчание.

— А с господами-то он вряд хороводится! — заметил рыжий мужичок с бородкой клинушкой.

— Куда ему! — снисходительно ответил другой рыжий мужичок с бородой лопатой.

И на этот раз Карявый не вытерпел.

— Где ему, горюше, с господами вожжаться, — произнес он. — Гляди, порток не начинится с доходов-то своих!

Но и на остроту Карявого мужики усмехнулись слабо. А рыжий мужичок с бородкой

клинушком даже пришел в неописанное возбуждение и заговорил спутанно и поспешно:

— Это ты, Влас, не говори... Это так-то всякий... Иной, брат, и бедный ежели... Иной, он и бедный, да бога, например... бога иной помнит!

И все дружно согласились с рыжим мужичком.

Во время обеда появился Захар Иваныч и обошел столы. Мужики громко здоровались с ним. С бабами он заговаривал сам. Мокей с подобострастной улыбкой на лице семеня около него бочком и вкрадчиво нашептывал:

— Очень довольны мужички вашей милостью, Захар Иваныч! Мы, говорят, не только — замест отца почитаем ихнюю милость. Это вроде как замест родителей, например, — пояснил он в скобках, — очень даже довольны!

— Ты когда мне деньги-то заработаешь? — так же тихо спросил его Захар Иваныч.

Но Мокей как бы не расслышал этого вопроса. Он внезапно изъявил в лице своем деловую озабоченность и закричал на другого подносчика:

— Эй, волокн свежину! Разинул гляделки-то! Не глядеть тут пришли! — а за сим стремительно покинул Захара Иваныча и беспокойной походкой заспешил на кухню.

В кухне происходило столпотворение. Повар Лукьян, точно некий маг, стоял около плиты и мановением рук распоряжался поварами. И повара сновали по кухне словно угорелые; они в каком-то исступлении стучали ножами, толкли, мололи, месили, крошили, очищали коренья, гремели противнями... И дело строилось как по нотам. Бульоны кипели, дичь жарилась, горы нежных пирожков воздвигались на блюдах. Мокей остановился в дверях, посмотрел на величественного Лукьяна, повел с пренебрежением носом и, почесав в затылке, снова возвратился к столам.

Утром Варя встала пасмурная. Шум и суетня прислуги необычайно раздражали ее. Но когда настала очередь торжествований, когда на нее посыпались поздравления, когда седенький священник добродушно прошамкал молебен «О здравии болярыни Варвары» и немилосердно накурил в столовой лада-

ном, — она быстро ожила и запорхала как птичка. И странное ощущение она испытывала: ей казалось, что каждый нерв в ней трепещет в каком-то чутком напряжении, и это непрерывное трепетанье подмывало ее точно волнами. Как будто какая посторонняя сила руководила ее движениями и влекла куда-то... И порывы безотчетной тоски, безотчетного веселья вставали и проходили в ней прихотливой чередой.

Когда крестьяне пообедали и бабы разместились вдоль двора живописными группами, а мужики собрались в один огромный круг, Варя под руку с отцом сошла к ним. Она останавливалась около баб и девок, любовалась на их яркие костюмы и загорелые лица, приветливо улыбаясь ей, дарила им платки и ожерелья, просила играть песни и водить хороводы. К мужикам же подошла молча и в каком-то страхе. Эта громадная толпа подавляла ее своим внушительным рокотом. Но зато с ними заговорил Алексей Борисович.

— Ну, пейзаже, — сказал он с обычной своей усмешкой, — давно мы с вами не видались. Что поделаешь! Вы теперь свои, мы —

свои. Мы уж больше не милостивцы, а соседи. И отлично. Будем и жить по-соседски: мирно и справедливо. В рыло друг другу не залезать, в карман — тоже. Ведь вы мною, надеюсь, довольны, граждане?

Толпа издала дружный и поспешный гул, из которого можно было уразуметь, что она довольна.

— Великолепно. Ну, это дочь моя, барышня, — он указал на Варю, — девка она важная, говоря вашими словами, и вас, мужиков, твердо почитает ситойенами...[21]

Варя стыдливо вспыхнула и прошептала с упреком: «Папа!»

— Façon de parler[22], — в скобках ответил Алексей Борисович.

А толпа снова отозвалась одобрительным гулом.

Вдруг из-за ней пробралась какая-то дряхлая старушонка, изогнутая чуть не до земли, и с бессильным хныканием прошамкала:

— Где он, мой батюшка... Хоть глазком-то на него... Мальчоночкой я его, батюшку, видела... — и, увидав Алексея Борисовича, воскликнула в умилении: — Ах ты мой ба-а-тюш-

ка! — и приникла к его руке.

— О, наивная старина! — произнес насмешливо Волхонский, но руки от губ старухи все-таки не отнял. В толпе сдержанно посмеивались.

— Дай ей что-нибудь, — шептала взволнованная Варя, в смущении отворачиваясь от отца. Алексей Борисович протянул старухе десятирублевую бумажку.

— Отслужи, старуха, панихиду по сладчайшим крепостным временам! — сказал он шутливо. И старуха, разливаясь в слезах, шептала едва внятно:

— Отслужу, кормилец, отслужу...

По уходе господ Влас Карявый первый воскликнул: «Вот-те и бабка Канючиха!» — «И впрямь „канючиха“!» — подхватили другие. «Ай да бабка!» — «Ничего себе — она слизала десятку». — «Ведь ишь, старая ведьма!..» — «А ты думал, она спроста?» — «Небось, брат, не из таковских». — «А панихиду-то ей служить?» — «Рассказывай! она сунет тебе попу куренка какого, вот те и панихида». — «Да по ком панихиду-то?» — «А шут их тут...» — «Должно, по барину-покойнику...» — «Нет,

бабка-то, бабка-то! А!.. ловко подкати-лась!..» — «Ну, ведьма!» Бабы встретили старуху тоже неодобрительно: сначала они все просили показать им кредитку, но когда старуха отказала в этом, — целый град ядовитых насмешек на нее посыпался. Название, данное ей Карявым, вмиг разлетелось по народу. И кончилось тем, что старуха изругала всех наисквернейшими словами и, пошатываясь, торопливо побрела восвояси. Ребятишки бежали за ней и кричали: «У, у, канючиха! Канючиха!»

Но мало-помалу хмель брал свои права. В народе воцарялась веселость. Девки и бабы расхаживали по двору, грызли орехи и подсолнухи, орали звонкие песни. Мужики гудели как пчелы и в свою очередь затягивали песни. У кого-то очутилась гармоника, и вмиг составился дробный трепак с четкими и скоромными приговорками и оглушительным хохотом предстоящих.

А между тем стали подъезжать гости. Приехал предводитель — тонкое и кислое существо, чрезвычайно похожее на ощипанную

птицу. Прикатили офицеры ближнего полка — люди все ловкие и душистые, с молодецким встряхиванием плеч и лихими взорами, однако же в мытых перчатках. Примчался на любительской тройке хват полковник, из бывших гвардейцев, мужчина тучный и знаменитый тем, что под Плевной в единственном экземпляре уцелел от своего батальона. Притащился в дряхлой карете, на костлявых одрах, дряхлый, но тем не менее известный муж — тайный советник в отставке и вместе автор неудобочитаемой заграничной брошюры: *Жупел, или raisonnement*[23] *о том, как надобно жить, дабы révolution*[24] *не нажать*. Прилетел сановник, недавно сдвинутый с позиции, а потому и красный как пион — щепетильный и подвижный, но чистоплотный до приторности и тупой как бревно.

Но этим, конечно, не ограничивалось общество Волхонки в такой знаменательный день. Тут были и братья Петушковы, очень приличные молодые люди, которые великолепно обращались с салфетками и... простите за нескромное выражение — с носовыми платками; здесь находился и старик Кочетков

с сыном, которого все почему-то звали Мон-тре, несмотря на то, что он был женат и имел Станислава в петлице. Нужно ли упоминать, что все уездные миродержцы присутствовали в Волхонке? Нужно ли рассказывать, что и Психей Психеич, председатель земской управы, был здесь, и Корней Корнеич исправник, и мировой судья Цуцкой, и другой Цуцкой, тоже мировой судья, но только поглупее, и непрременный член Клёпушкин, женатый на барыне, которую в глаза все звали Клёпкой, а за глаза Клеопатрой Аллилуевной. Тут был даже какой-то отец Ихтиозавр, впрочем не поп, а уездный врач и надворный советник.

Что касается до барынь — волхонский дом едва вмещал их. Были всякие барыни: и сплетницы с горячим воображением и с неизбежным пушком на рыльце; и щеголихи, изнывавшие в ненасытимой жажде модной шляпки или какого-нибудь *sortie de bal*[25] с невиданной отделкой; и кокетливые — игравшие глазами не хуже любого арапа на часовом циферблате и отчаянно шевелившие бедрами; и смиренницы — с добродетельными припевами на языке и с любовной запиской

в кармане... Были и такие, что дома орали и дрались с прислугой, а здесь лепетали как расслабленные о преимуществах конституционного правления и жаловались на нервы. Много было красивых и подкрашенных; одна хромала. Но большинство одето было по моде и попугайных цветов избегло. Правда, костюм от Hentennaar был только на предводительше, да еще жена одного Петушкова приехала в платье от московской Жозефины; но все остальные были очень мило обряжены туземными Бортами и выглядели точно картинки из «Нового базара».

Усадьба сразу переполнилась малиновым звоном колокольчиков, дребезгом колес, криками кучеров... Песни прекратились. Народ с любопытством толпился у подъезда и подвергал бесцеремонной критике господ и экипажи. И здесь более всех отличался Карявый. Он стоял впереди и, хладнокровно поигрывая прутиком, расточал эпитеты. Предводителя он назвал «глистой», Цуцких — «борзыми», офицеров — «коняшками», сановника — «коренником», автора брошюры — «пустельгою» [26]. Перед некоторыми из господ мужики

стихали и снимали шапки. Так было, когда появился полковник в густых своих эполетах, предводитель, всем известный по рекрутскому присутствию, непременный член Клёпушкин, мировой судья волхонского участка, исправник... Остальных встречали, нимало не смущаясь, хотя держали себя вообще сдержанно и прилично.

Каждый из гостей, входя в дом, тотчас же изъяслял свои наклонности и привычки. Иной держал себя гордо и самоуверенно и, покидая с великолепной небрежностью пальто на руки ливрейных лакеев, с самого порога гостинной расточал французские фразы. Другой входил с некоторой робостью и ласково упрашивал лакеев «приберечь его пальтецо», а появляясь в гостиную, бочком проходил к Варе и величал ее «новорожденной». Разные были люди. Автор заграничной брошюры, тот, как вошел, добрую минуту топтался на одном месте и, беспомощно подпрыгивая костлявыми своими ногами, истерзанными подагрой, извинялся перед Варей и Алексеем Борисовичем, что явился не в форме. Его тотчас

же тесно окружили.

— Какой случай! — лепетал он, сильно пришепетывая и с беспокойством разглаживая бакенбарды. — Кхе, кхе... преинтересный случай... Был я, представьте себе, в Петербурге и в багаже-с препроводил в деревню все свои, эти так называемые онёры, хе, хе, хе... и, представьте себе, — получается... пакля-с! — Окружающие вскрикнули в подобострастном удивлении. Старец обвел их торжествующим взглядом. — Именно пакля, — повторил он, — ни мундира, ни звезды, ни... — он в затруднении зашевелил губами.

— Пьедестальчиков, ваше высокопревосходительство? — сказал Алексей Борисович, едва заметно улыбаясь.

— Именно — пьедестальчиков! — с живостью подхватил старец. — Хе, хе, хе... именно — пьедестальчиков. Представьте мое положение... — и добавил, игриво разводя руками: — Генерал без пьедестальчиков! — после чего, молодецки подпрыгивая ножками, двинулся в гостиную, окруженный почтительно смеющейся толпой. Только отец Ихтиозавр с Монтре остались позади, и тогда первый поз-

волил себе язвительно фыркнуть. Но Монтре с ним не согласился.

— Что ни говорите, батенька, — тайный советник! — вымолвил он тоном непобедимого аргумента.

А тайный советник внезапно остановился среди гостиной и, разводя руками, снова залепетал:

— Но в пакле, господа... Кхе, кхе... представьте мое положение: в пакле оказалась... шляпа!

Все точно оцепенели в изумлении.

— С плюмажем, ваше высокопревосходительство? — вежливо осведомился Волхонский.

— Хе, хе, хе, совершенно верно изволили заметить, именно — с плюмажем!

— И в шляпе?.. — вопросительно произнес Алексей Борисович, подобно всем давно уже слышавший об этой истории с генеральскими вещами.

— И в шляпе, кхе, кхе... в шляпе... — снова затруднился старец, приискивая выражения и торопливо подергивая бакенбарды.

— Нецензурная дрянь, ваше высокопревос-

ходительство? — подхватил Волхонский.

Старец даже покраснел от удовольствия.

— Вот, вот... — поспешно произнес он, — совершенно верно изволили выразиться... именно — дрянь... именно — нецензурная дрянь, хе, хе, хе... Нет, представьте, какова дерзость!

— И вы, ваше высокопревосходительство, — без шляпы и без пьедестальчиков, — с участием сказал Алексей Борисович.

— И прибавьте: без мундира и без звезды-с... хе, хе, хе, — и старец победоносно двинься далее.

Лукавин и Мишель произвели своим появлением совершеннейший эффект. Все характеры как-то внезапно извратились и слились в общем подхалимском порыве. Ядовитый отец Ихтиозавр улыбался точно гимназистка третьего класса, получившая хорошую отметку. Чопорный сановник делал застенчивые глазки. Важный полковник изъявил полнейшую готовность устремиться за платком, который уронил Лукавин. Цуцкой, что поглубее, бродил около него как ягненок и беспрерывно заглядывал в глаза... Даже автор зна-

менитой брошюры и тот таял, как мармелад, и, фамильярно подхватив Петра Лукьяныча под руку, дружески расспрашивал его о здоровье «знаменитого родителя» и о том, есть ли шансы получить Лукьяну Трифонычу концессию на Сибирскую дорогу, и только тот Цуцкой, что поумнее, с азартом посматривал на него, от времени до времени плотноядно оскаливая зубы. Лукавин держался чопорно, но иногда слабая усмешка мелькала у него в усах, и он оглядывал господ с вежливой презрительностью.

Что касается до графа, то ему особенно везло среди дам. Так, когда он раскрыл свой меланхолический ротик и рассыпал перед ними прелестнейшие французские словеса, они даже издали нечто вроде тихого и упоительного визга.

Когда свечерело и господа пообедали, вокруг дома зажгли иллюминацию. Бесконечные гирлянды разноцветных фонариков опоясали ограду и ярким ожерельем унизали ближние аллеи. На фасадах загорелись транспаранты. Французское W на каждом шагу ис-

крилось и переливало огнями. Потоки белого, палевого, зеленого, красного света красивыми волнами разливались по двору, и народ двигался в этих волнах непрерывными толпами, гудел, изумлялся, заводил песни... На озере длинной цепью горели смоляные бочки. По островам сидели люди с запасом ракет и ждали сигнала. Музыка гремела.

Варя испытывала какое-то опьянение. Глаза ее сняли. Бледное лицо пылало каким-то странным, не выступающим наружу пожаром. Лукавин не отходил от нее. Он до забвения всяких приличий любовался ею. И действительно, она была хороша. Белое бальное платье, унизанное камелиями, изумительно шло к ней. В ее ушах горели бриллианты... Петр Лукьяныч танцевал с ней, сидел около нее, нашептывал ей любезности. И Варя была довольна этим, она с какой-то насмешливой веселостью отмечала огульное поклонение перед Лукавиным, эти заискивающие улыбки, эти вкрадчивые фразы, что неслись к нему со всех сторон. И ее тешило, что ни на кого он не обращает внимания, а следует за ней как тень и с рабской покорностью смотрит ей в

глаза. Она чуяла в себе силу. Это ее забавляло. Но иногда в ее душе теснилась грусть и какой-то неприязненный холод сжимал ей сердце.

Бал был в полном разгаре. Зала, залитая огнями, представляла привлекательный вид. Музыка заполняла окрестность подмывающими звуками. Пары кружились неумолимо. В окна врывались мужицкие песни, и теплый ветер доносил с полей медовый запах спелого хлеба... Усталая Варя подхватила под руки madame Петушкову и, обмахиваясь веером, прошла в другие комнаты. В столовой винтили. Партнеры ожесточенно ругали тяжело отдувавшегося отца Ихтиозавра и обличали его в незнании арифметики. Дальше — автор знаменитой брошюры играл в пикет с Алексеем Борисовичем и между сдачей сладостно припоминал свое знакомство со стариком Лукавиным, совершившееся в швейцарской бывшего министра. Дальше — играли в преферанс с неограниченной курочкой, причем за одним из Цуцких специально присматривал Корней Корнеич, дабы этот Цуцкой не подавал другому Цуцкому аллегорических зна-

ков. Варя прошла в кабинет. Там происходили разговоры. Сановник и предводитель говорили с Облепищевым о Париже.

— Да, не тот Париж, — грустно тянул Мишель по-французски. — Я, конечно, едва помню империю, но, боже, что это был тогда за шикарный город! Эти выходы, эти балы в Тюильри, эти... эти грандиозные празднества... О, это было нечто изумительное!.. Надо представить себе, что это такое было!.. А теперь что вы видите — *monsieur* Греви чуть сальные огарки не жжет...

— О, что касается сальных огарков... — ядовито вымолвил сановник.

Но Облепищев с решительностью перебил его.

— Нет, я с вами в этом не согласен, — произнес он, — совершенно не согласен. Режим придает колорит; согласитесь, что придает колорит. Эти мещанские *soirées* господина Греви, эти его маркерские забавы... Нет, положительно надо признаться, что эта бедная Франция ужасно потеряла с этим республиканским режимом.

Варя слышала всю эту тираду. Она подо-

шла к графу и с холодной улыбкой положила ему руку на плечо.

— Мишель, а Женни?.. — протянула она значительно.

Облепищев посмотрел на нее в недоумении. Затем поцеловал руку.

— Я тебя не понимаю, моя прелесть, — сказал он.

— Разве ты либеральничал тоже только в Женеве? — произнесла она вполголоса.

— О, ты меня не поняла, если так, — живо отозвался он, наклоняясь к Варе. — Я вообще плохой политик, мой ангел. Мое мнение: доктрина — то же, что грамматика. Не правда ли? Бог у меня один, моя прекрасная, — *красота*. Красота в форме, в идее, в чувстве, в звуке, в движениях... — и, окинув ее пристальным взглядом, сказал в восторге: — А ты — пророк моего лучезарного бога!

Варя посмотрела на него рассеянным взглядом и медлительно прошла в залу. Неясные думы вставали в ее головке. Но вдруг она как бы испугалась этих дум и, опустив веер, быстро понеслась с Лукавиным в вальсе.

Раздался далекий залп. В дверях зала по-

явился Алексей Борисович.

— Mesdames, — воскликнул он, — не угодно ли полюбоваться «огненной потехой»!

Гости высыпали в сад. Музыка прервалась на несколько минут и затем уж загрела в саду. Варя под руку с Лукавиным вышла на балкон и остановилась около балюстрады. Деревья сада возвышались в фантастическом освещении. Странная зелень листьев вырезывалась отчетливо и ярко. Высокие березы точно курились, ивы, склонившиеся над озером, походили на декорации. В темной воде ясно и трепетно отражались горящие бочки. Со двора доносились крики, и песни, и удалой по-свист. Какой-то марш торжественно и задорно гремел из сиреневой аллеи, вызывая смутный отзвук в далеком поле.

Варя стояла точно в забытьи. Иногда ей казалось, что вокруг совершается сказка и что еще одно мгновение, и она проснется во тьме крошечной. И не хотелось ей просыпаться. Ей было хорошо. Голова ее слегка кружилась. Какая-то нежная теплота медлительно расплывалась по ней и как будто сковывала ее, погружая в неизъяснимую истому. Лукавин

пожал ей руку, она не отняла ее. Она только слабо улыбнулась и пролепетала невнятно: «Как странно...» — и внезапно вздрогнула: ракета с ужасным треском вылетела из купы деревьев и, точно располыхнув темную бездну, описала смелую дугу и рассыпалась в вышине синими, красными, зелеными огоньками. Барыни ахнули. Со двора загладели в неистовом восторге. Звуки музыки с какой-то победоносной гордостью полетели в пространство. В дальней роще зашумели встревоженные грачи... Треск повторился, и взвилась другая ракета. Варя бессознательно прислонилась к Лукавину. Он пристально посмотрел ей в лицо. Глаза ее были полузакрыты, на губах блуждала блаженная улыбка... Он оглянулся вокруг: только отец Ихтиозавр сладко улыбался около них. Но и тот едва завидел взгляд Лукавина, как тотчас же понурился и удалился, торопливо колыхая своим брюшком. Петр Лукьяныч близко наклонился к Варя. Вдруг она раскрыла глаза и в испуге посмотрела на него. Тогда он снова пожал ей руку, и она снова не отняла ее.

— Варвара Алексеевна, — произнес он. Она

молчала. — Варюша, — вымолвил он тихо и нежно и, помедлив, продолжал: — Вы не прочь быть моей...

— Что это такое! — вскрикнула она в страшной тревоге и указала на озеро.

Лукавин быстро оглянулся: озеро пламенело в каком-то кровавом освещении. И потрясающий вопль вырвался за домом. Этот вопль все потопил в себе: и гром музыки, и раздирающий треск ракет, и шум грачей, беспокойно взвивавшихся над своими гнездами...

— Это, вероятно, бочки, — неуверенно выговорил Петр Лукьяныч.

И вдруг частый и жалостный звук набата задребезжал в отдалении. Варя стремительно бросилась в дом и, миновав пустынные комнаты, где празднично горели люстры и канделябры, выскочила на крыльцо. Огромное зарево встало перед нею: горела деревня. И, не помня себя от испуга и горя, она побежала к пожару.

XVIII

Вся дорога от усадьбы до села была усеяна народом. Беспорядочный и тяжкий топот торопливых шагов смутным и жутким гулом отдавался в ущах Вари. Зарево ярко падало на толпу. Багровый свет мрачно и отчетливо выделял лица, искаженные горем, отчаянием, испугом... и каждую былинку на дороге освещал с зловещей ясностью. В воздухе стоял какой-то сплошной, неясный и надорванный стон. Иногда вырывались бессильные всхлипывания, иногда какая-нибудь баба причитала на ходу и тотчас же утихала... Кто-то наступил Варе на шлейф, какая-то молодуха пребольно толкнула ее... Но она ничего не замечала и бежала, бежала, гонимая непреодолимым ужасом. Одно время грудь у ней стеснилась с болью. Она остановилась, но толпа снова увлекла ее и, задыхаясь от усталости, она снова побежала. Иногда она озиралась по сторонам, и тогда этот вид растерянного люда, в испуге шумевшего около нее, мучительно рвал ей сердце.

Колокол гудел спутанно и тревожно. По-

рою уставшая рука звонаря отрывалась от него, и тогда унылый звук замирал в долгом и печальном дребезжании. Но чрез мгновенье торопливые удары снова сыпались и волновали окрестность беспокойным страхом.

Горел верхний порядок. Огонь уже успел схватить несколько дворов. Соломенные крыши, насквозь высушенные июльским солнцем, вспыхивали как порох. Утлые стены избушек, сухие и тонкие, пылали точно свечи. Ракиты, дружно охватываемые огнем, трещали и волновались. В дворах тоскливо мычали коровы, блеяли овцы... Народ суетливо метался около полыхающих строений, вытаскивал пожитки, толпился в дыму и раскаленной атмосфере. Но толку из этого выходило очень мало.

Две пожарные бочки с отчаяннейшим визгом и гулом помчались за водою. Но когда воду налили в них, она бесчисленными струйками засочилась в разохшиеся пазы и достигла пожара в совершенно смешном количестве. Все лошади были в ночном, и кроме обязательной пожарной пары не на чем было съездить на реку. Тогда стали качать из

ближнего колодца. Но цепь из десятка ведер как будто только раздражила пламя, и оно свирепело с каждой минутой. Оторопевший староста бегал вокруг пожара и расточал приказания, на которые никто не обращал ни малейшего внимания... Влас Карявый догадался притащить багор. Человек пять ухватились за него и с усердием зацепили за пылающие бревна; но после первого же усилия крюк соскочил с рычага и бесследно потонул в пламени. Тогда вспомнили, что есть и еще багры, но когда прибежали за ними в сарай, то нашли их никуда не годными.

Да и тушили-то пожар только хозяева горевших строений да окольные жители. Все остальные разбежались по своим дворам и выносили пожитки, выводили скотину, выгружали из амбаров припасы, вывозили телеги и сохи. По всему селу кипела суматоха. Ворота неистово скрипели; там и сям звенели стекла разбиваемой второпях рамы. Бабы бегали и металась в безумном отчаянии и переполняли улицу надрывающей голосью.

Варя остановилась в толпе. Она какими-то неподвижными глазами смотрела на сцену

пожара и стояла точно застывшая. Волосы ее распустились, шлейф висел клочьями, камелии осыпались... Она же ничего не примечала и, до боли стиснув руки, смотрела и слушала неотступно. Она смотрела, как люди черными и резко очерченными силуэтами копошились вокруг огня, как они вбегали на дворы и тащили оттуда коров, тупо поводящих огромными глазами, стогнали овец, теснившихся в диком недоумении; как из занимавшихся строений выползал дым мутными волнами и багровым столбом клубился в вышине; как голуби кружились и взмывали в испуге, трепеща огненными крыльями... Она глядела, как отбивали рамы из окон, влезали в избы, выкидывали оттуда дерюгу, сундучишко с различной рухлядью, потемневшую икону, скамью, всю изнизанную тараканами... Она вслушивалась в ноющий гул набата, в оглушительный треск пламени, победоносно взвивавшегося к небесам... Беспорядочные крики, рев ополоумевшей скотины, горькие вопли баб, торопливое скрипение бочек, холодный лязг железных ведер, бессильные всплески воды — все это ходило около нее

грозными волнами и переполняло ее душу чувством неизъяснимой скорби. Но эта скорбь уже не терзала ее и не рвала ей сердце, — она надвинулась на нее тяжелой, свинцовой тучей и всю с ног до головы заледенила. Иногда по ней пробегал озноб: обнаженные плечи ее вздрагивали мелкой и колючей дрожью. Тогда она пожималась с видом рассеянного и тупого равнодушия и еще более стискивала свои руки. И ни одной мысли не шевелилось в ее голове. Она не думала, но только ощущала; и чувствовала, что внутри у ней неприязненно холодеет какая-то пустота и что вместо сердца как будто камень какой лежит тяжелым гнетом и не дает ей вздохнуть. Иногда она закрывала глаза, и тогда ей казалось, что разъяренное море бушует вокруг нее и нет ей спасения от этой ярости, и смертельная тоска ее обнимала...

А между тем к пожару прискакали трубы из усадьбы. Захар Иваныч сам правил лошадьми на одной из них. Около него лепился Корней Корнеич. За трубами длинной вереницей показались экипажи; пары и тройки звенели колокольчиками; пьяные кучера

кричали. Исправник тотчас же вступил в распоряжение. Не говоря ни слова, он первому попавшемуся мужику влепил затрецину, а старосте закатил здоровую оплеуху. Это как бы поощрило последнего: он шибко припустился к толпе и начал направо и налево сыпать удары своей палочкой. Корней Корнейч бежал за ним и крепко ругался. Мужики вдруг дружно загалдели. «Эй, эй, полезай на крышу-то, — орал один, — полезай, Митюха... Держись за плетень-то, держись... Приваливайся». — «Наваливай на сарай, — кричал другой — напирай на сарай!.. Наяривай!..» Но третий подхватывал в тревоге: «Соскакивай, ребята!.. Занимается!.. Прыгай живее!.. Сползай!.. Животом, животом-то съерзывай!..» И «ребята» проворно скатывались с крыш, а пламя стремительно охватывало эти крыши и с торжествующим ревом пожирало их.

Варя почувствовала прикосновение чьей-то руки; она безотчетно оглянулась.

— Разве так можно, Варвара Алексеевна! — с упреком воскликнул Лукавин. Она ничего не ответила. Он накинул плед на ее плечи, взял ее за руку, вывел из толпы... Она шла в

каком-то изумлении. — Долго ли схватить простуду! — произнес Петр Лукьянович, подсаживая ее в коляску. Но она не села; она встала во весь рост и, не отрываясь, смотрела на пожар. Вся она точно оцепенела. Даже вид Тутолмина, внезапно появившегося на багровом фоне с упирающейся коровой, которую он изо всех сил тащил за рога, — даже этот вид не возбудил в ней ничего, кроме смутного и отдаленного чувства сожаления. К ней подошли барыни. Раздались восклицания: «Ах, как это ужасно!» — «Кто мог ожидать!.. Так внезапно!» — «Бедные крестьяне...» — и тому подобное. Варя не проронила ни слова. Но когда Лукавин заметил наконец ее состояние и, тряхнув волосами, произнес в виде утешения: «Это сущие пустяки — беда поправимая!» — она остановила на нем презрительный взгляд и длинно протянула, искривляя пересохшие свои губы: «Вы думаете?» — после чего снова закаменела в неподвижности.

Те из господ, которые не хлопотали вокруг огня, столпились около длинной линейки, стоявшей в значительном отдалении, и, меняясь оживленными фразами, смотрели на

пожар. Иные сидели.

— Как это эффектно! — восклицал Волхонский, указывая рукою.

— Да, да... — лепетал старец, автор знаменитой брошюры. — Именно эффектно... Но, знаете ли, я теперь начинаю припоминать... припоминать этот апраксинский пожар... этот петербургский...

— Я видел этот пожар, ваше высокопревосходительство, — сказал Алексей Борисович.

— А, а, видели?.. Превосходно сделали, превосходно изволили сделать... Не правда ли, эти... эти языки огня... эти, эти столбы дыма...

— Напоминали нечто грандиозное.

— Вот, вот... Именно — грандиозное, именно — напоминали... Это вы превосходно изволили выразить... — И вдруг, наморщивши чело, он прошептал, наклоняясь к Волхонскому: — А что здесь, как вы полагаете, здесь не совершенно злого умысла?..

— Не думаю, ваше высокопревосходительство, — с едва заметной иронией отозвался Алексей Борисович, — разве вот нигилисты...

Старец даже подпрыгнул.

— Вот, вот, вот... — горячо подхватил он, в

беспокойстве ковыряя пальцами свои баки, — именно — нигилисты, именно я их и имел в виду!..

— Да нет, вряд ли! — произнес Волхонский, внутренне помирая со смеху. — Тут и всего-то один нигилист, да и тот вон корову за рога тащит... — Он указал на Тутолмина.

— А, а, корову... — старец любопытно посмотрел по указанию, — корову... Это отлично, — сказал он и добавил глубокомысленно: — Но... несомненный нигилист?

— О, несомненнейший! При мне обходился без помощи носового платка и даже громогласно утверждал, что чин тайного советника в сущности не чин, а сонное мечтание.

Старик широко раскрыл глаза и явил в них беспокойство.

Офицерики увивались около барынь.

— Но скажите, ежели мне одинаково нравятся лилия и роза? — спрашивал один, пронизывая коварным взглядом шуструю дамочку, беспрестанно выдвигавшую из-под платья изящную ножку в серой туфле.

— О, непременно должны сделать выбор! — говорила та.

— Но если это значит разорвать сердце?

— Разрывайте.

— О, как вы жестоки!..

Некоторые приглашали на кадриль.

— Пановский, будешь со мной визави? Пожалуйста, Пановский! — умоляющим голосом взывал свеженький субалтерник.

— Нет, что ни говори, а ужасное мы государство, — значительно тянул сановник. — Смотрите, это ведь вопиющая мерзость — эти соломенные кровли!

Старец быстро оборотился в его сторону.

— Совершенно верно изволили выразить, ваше превосходительство, — залепетал он, — именно — мерзость, именно — соломенные кровли мерзость... Но теперь этого не будет! — И он торопливо замахал кистью руки.

— То есть как же так? — ядовито спросил сановник, питавший странную ревность ко всем улучшениям, которые могли бы совершиться без его ведома.

— А я изобрел... я очень наглядно изобрел... Знаете, постройки эдакие... эдакие огне-неподдающиеся постройки...

— Но в чем же их преимущество? — полю-

бопытствовал сановник.

— О, преимущество громадное, — подхватил Волхонский, — обычные постройки горят, и от них остаются угли... Но когда сгорает эдакая... огненепобораемая... от нее остается глина, и... мужик. Мужик и глина.

— Вот, вот, — радостно подхватил старец, — совершенно верно изволили... именно — мужик, именно — мужик и глина!

Сановник благосклонно улыбнулся.

Мишель, закутанный в пледы, лежал в глубине какого-то тарантаса. Рядом с ним сидели madame Петушкова и предводительша. Он пожимал им руки и, мечтательно посматривая в вышину, восклицал: «Полюбуйтесь, mesdames!.. Посмотрите, как кружатся эти голуби, точно искры... Или, как это у Гоголя... А как мрачна и загадочна эта бездна, — продолжал он, указывая в небо, — не кажется ли вам, что кто-то хмурится оттуда и грозит... О, как понятна сейчас эта идея гневного и карающего бога!»

Дамы благоговейно внимали его речам, и Петушкова не смела отнять своей руки, которую граф пожимал слишком уже дружественно.

но, а предводительша не хотела отнимать и даже слегка отвечала на его пожатие. Ей очень нравился Облепищев.

Официальные люди убивались на пожаре. И по справедливости надо сказать, что хлопотали ужасно. Корней Корнеич самолично распорядился, по крайней мере, с дюжиной мужицких физиономий; кроме того, он посулил старосте долговременные узы. Клёпушкин, в свою очередь, поработал. Но всех усерднее действовали Цуцкие. Они метались по народу, точно угорелые, и раздавали столько пинков и оплеушин, что их не было никакой возможности перечислить. Впрочем, один из Цуцких (тот, что поглупее) даже залез на крышу и для чего-то стал расковыривать солому, но провалился в дыру и был извлечен за ноги. И, конечно, огонь не мог устоять против такого самоотвержения. Он достиг до площади, на которой стояла церковь, и, моментально сожрав крайний дворик, принадлежавший убогой просвиrne, упал. Тогда начальство вздохнуло свободно.

— Кончено, — произнес Лукавин и предло-

жил Варе сесть. Она обвела пожарище длинным и тяжелым взглядом и опустилась на подушку. Обугленные остовы жарко тлели. Полуразрушенные печи черными и мрачными столбами возвышались среди них. Погорельцы слонялись по пожару как тени и ковыряли груды скипевшегося пепла. Бабы причитали. Среди улицы валялся разнохарактерный скарб. В нем пугливо копошились дети. Иногда плач оттуда вырывался, тоскливый и жалостный. Порою можно было слышать глухой стон. Церковь алела, точно залитая кровью. Где-то завывала собака...

Экипажи медленно пробирались по улице; колокольчики осторожно перезванивали. Но господа притихли и пребывали в почтительном безмолвии. Над ними точно туча повисла. Их угнетало мужицкое горе — не так заметное за треском пламени, суетнёю и звуками набата.

Варя сидела, как-то странно выпрямившись, и бессмысленно озираала пространство. Однажды она скользнула взглядом по лицу Лукавина, на котором пламенным румянцем отражалось пожарище, и ужасно чуждым по-

казалось ей это красивое лицо. Но она только мгновение подумала об этом и как будто от-вернулась от этой мысли, до того она показала ей скучной и неинтересной. Что-то важное и значительное вставало в ней. Сердце ее болело.

Выехав из деревни, кучера гикнули и понеслись с шумом; колокольчики бойко зазвенели. Господа вздохнули с облегчением. Усадьба выростала перед ними, униженная гирляндами фонариков и потускневшими транспарантами. Музыканты, услышав приближение экипажей, мгновенно настроились и загремели «Персидский марш».

Коляска, в которой сидела Варя, первая подкатила к подъезду.

— Э, вы, почитай, заснули, Варвара Алексеевна! — шутливо воскликнул Лукавин, выходя из коляски. Варя быстро поднялась, мгновение как будто прислушивалась к чему-то (неясные вопли странно перемешивались с звуками музыки), глянула на пожарище, угрюмо пламеневшее в отдалении, и вдруг, слабо вскрикнув, пошатнулась. Лукавин подхватил ее, — она была без чувств. Лицо ее,

покрытое мутной бледностью, являло вид
неизъяснимого ужаса.

XIX

Страшная тревога поднялась в волхонском доме. Варю окружили тесною толпой. Некоторые побежали к музыкантам и, махая руками, приказывали им перестать. Но музыканты недоумевали, и музыка стихала нестройно и медленно. Прислуга бегала с растерянными лицами. Отец Ихтиозавр важно сопел и щупал пульс у Вари. Все жадно смотрели ему в лицо.

Наконец он нашел, что беспокоиться нечего и что у девушки просто легкий обморок. Тогда ее отнесли наверх и уложили в постель. И грузные шаги прислуги, подымавшей Варю по лестнице, как-то неприятно всех поразили, голоса понизились. Все для чего-то стали ходить на цыпочках. Облепищев почувствовал дурноту и удалился в свою комнату, не забыв, однако же, шепнуть предводительше, что она напоминает ему Эсмеральду... Многие поспешили уехать. Но, однако же, устроили подписку в пользу погорельцев, причем с затаенным любопытством ожидали, сколько-то выложит Лукавин.

Иллюминация погасала. Забытые транспаранты распространяли копоть. Потухшие бочки смрадно дымились.

Встревоженный Алексей Борисович бесцельно ходил по комнатам и с односложной вежливостью отвечал на успокоения гостей. Отец Ихтиозавр сидел около Вари. Волхонский несколько раз подымался наверх и спрашивал, не очнулась ли она. Но обморок все продолжался, перемежаемый неясными вздохами, и он мрачно сходил оттуда и в рассеянности смотрел на гостей. Автор знаменитой брошюры под шумок завладел Лукавиным и рассказывал ему о блистательных свойствах его «знаменитого родителя» и о том, что он, старец, хотя и косвенно, но некоторым образом поспособствовал получению Лукьяном Трифонычем ордена «святая Анны». А после старца к Петру Лукьянычу с азартом подошел Цуцкой (тот, что поумнее).

— Не можете вы одолжить мне до завтра семьсот рублей? — отрывисто спросил он, сердито вращая глазами.

— Не располагаю такой суммой, — вежливо ответил Лукавин.

— И пятьюстами не располагаете?

— И пятьюстами не располагаю.

Цуцкой подумал.

— Ну, давайте две сотни, — сказал он.

— И тех не могу.

Цуцкой укоризненно посмотрел на Лукавина.

— Эх, вы!.. А еще Россию грабите, — вымолвил он и, не поклонившись, направился к выходу.

«Эка чистяк какой!» — мысленно воскликнул Лукавин и насмешливо улыбнулся. Но он и не подумал рассердиться на Цуцкого.

Наконец все разъехались. Все на прощанье горячо пожимали руку Алексея Борисовича и с сочувствием заглядывали ему в глаза. Лукавин тоже подошел к нему с пожеланием покойной ночи. Но Волхонский вдруг расчувствовался и по какому-то влечению крепко обнял и поцеловал Петра Лукьяныча.

Остался один отец Ихтиозавр. Он тяжело вздыхал и, раздражительно пошевеливая усами, хлопотал около Вари. «По крайней мере, двадцать пять рублей должны мне дать», — подумал он в промежутках между тем, как да-

вал Варе нюхать спирт или приказывал Надежде согреть ей ноги.

Алексей Борисович долго и беспокойно ходил по своему кабинету. Какая-то тоскливая скука одолевала его. Он, правда, не придавал особого значения обмороку Вари, но обстоятельства, сопровождавшие обморок, — этот пожар, этот прерванный праздник, эта иллюминация, потухавшая в небрежении и отравлявшая воздух копотью и смрадом дегтя, этот торопливый и как будто панический разъезд — все это наполняло его душу каким-то угнетающим чувством. Стройный порядок Волхонки был нарушен грубо и неожиданно. Кроме того, он сегодня ожидал решительного результата в отношениях Вари к Лукавину... «И пришло же на ум гореть, когда не следует!» — в раздражении восклицал он, а спустя минуту приказал позвать Захара Иваныча. Одиночество его подавляло.

Захар Иваныч явился усталый и пасмурный.

— Ну, что, как там у вас? — спросил Волхонский.

— Потушили, — кратко отозвался Захар Иваныч.

— А трубы, кажется, хорошо действовали?

— Какое там хорошо! Скверно действовали. Да что трубы! — Захар Иваныч безнадежно махнул рукой. — Тут если и паровые при-тащишь, толку не будет. Разве можно гасить порох?

— Да-а... — глубокомысленно произнес Алексей Борисович. — Сколько же сгорело?

— Двадцать три двора.

— Гм... Экие они какие. Не слышно причины?

— Каких там слухов захотели. Тот одно говорит, тот другое... Верней всего золу с огнем вынесли.

— Это ужасно, — сказал Волхонский и покачал головой. — Вот тут передайте им, — добавил он, после легкого молчания подавая Захару Иванычу пачку кредиток и подписной лист. — Петр Лукьяныч пятьсот рублей подписал! — И Алексей Борисович с умилением посмотрел на Захара Иваныча.

Опять произошла пауза.

— Скотины много погорело, — вымолвил

Захар Иваныч.

— Да, да... — произнес Волхонский, сожале­тельно чмокнув языком. — Совсем погоре­ла?

— Совсем.

Снова совершилось безмолвие.

— Что это с Варварой Алексеевной? — спросил Захар Иваныч, усиливаясь сдержать зевоту.

Алексей Борисович в недоумении развел руками.

— Подите вот! — сказал он. — Нервы эти... Пешком, как оказывается, пробежала в се­ло, — и с раздражением добавил: — Ведь эти барышни не могут без геройства!

Захар Иваныч подумал и хотел было воз­разить, но не возразил, а вынул платок и громко высморкался. Опять помолчали.

— А ваш знакомый? Он, кажется, был там? — вяло спросил Волхонский.

— Да, как же, был.

— Что мы его не видим?

— А он в Ерзунах, кажется, гостил у му­жичка там одного; да на пожар и приехал.

Алексей Борисович снисходительно улыб-

нулся.

— Народники, — сказал он и добавил в покровительственном тоне: — Благородные люди!

Захар Иваныч промолчал. Но, посидев немного, поднялся.

— Так я уж пойду, Алексей Борисыч, — вымолвил он.

— А, вы идете? Ну, покойной ночи. Так передайте им... И вообще из хлеба что-нибудь... Вообще, чтобы не было этого... этого... (он потряс пальцами в воздухе) этого нытья!.. — и добавил с внезапной благосклонностью: — Мое почтение вашему знакомому.

По уходе Захара Иваныча он снова походил немного и затем, поместившись в глубоком кресле, погрузился в тонкую дремоту. Вдруг легкое прикосновение пробудило его. Он вздрогнул и быстро поднял голову. Пухлый лик отца Ихтиозавра в испуге наклонялся над ним.

— Что такое? — вскрикнул Алексей Борисович.

— Дело отвратительное... — сказал отец Ихтиозавр, — очнулась в бреду, и термометр

стоит на сквернейшей цифре.

Волхонский схватил себя за голову.

— Что вы со мной сделали, злодей! — закричал он в отчаянии и схватился за сонетку.

В тот же миг полетели телеграммы в Воронеж и в Москву, а за ближним доктором во весь опор поскакала тройка.

Утро всех застало в переполохе. Волхонский пожелтел и осунулся. Облепищев не выходил из своей комнаты. Лукавин, пасмурный, ушел к Захару Иванычу и не появлялся во весь день. Комнаты стояли в неприглядном беспорядке. Прислуга бестолково двигалась из угла в угол и перекидывалась унылыми замечаниями. Надежда ходила с заплаканными глазами. Суровый и гладко обритый человек в кашемировом сюртуке смотрел на всех исподлобья угрюмым и враждебным взглядом.

Варя лежала в страшном жару и никого не узнавала. В бреду у ней вырывались слова, никому не понятные, и часто в страстном и нежном шепоте упоминались ласковые названия; но к кому они относились, осталось

тайною. Иногда на лице ее появлялась блаженная улыбка и воспаленные губы шептали едва внятно: «Как хорошо... как это хорошо... Расскажите теперь о Женни — это очень хорошо... Ах, какая она огромная, эта Женни!..» Порою дикий восторг загорался в ее взгляде, из уст вырывались нестройные клики, она все подымалась в каком-то трепете... и снова бессильно упала на подушки и закрывала глаза. Но чаще всего она металась в тоскливом беспокойстве и пугливо вскрикивала, в неподвижном ужасе расширяя глаза. Казалось, какие-то страшные видения выступали перед нею, нестерпимо разрывая ее душу. Одно время она стала перечислять книги и статьи, указанные ей Тутолминым, — перечисляла поспешно, спутанно, торопливо и умоляла кого-то поверить ей и допустить на курсы, где читает «эта лучезарная Женни»... и вслед за этим хриплым голосом восклицала угрожающие слова... и гневно потрясала рукою.

И толстенький Ихтиозавр, давно уже растерявший все свои познания в механическом полосовании «мертвых тел» да в вечных карточных заботах, бестолково метался около Ва-

ри, прикладывал ей компрессы, беспрестанно ставил термометр, озабоченно считал горячее биение пульса...

На другой день предоставили земского Гиппократы. Он внимательно осмотрел больную, расспросил сконфуженного Ихтиозавра, скользнул по нем укоризненным взглядом, — а затем пожал плечами и стал дожидаться «перелома».

На третий день приехала местная знаменитость. Местная знаменитость галантно расшаркалась с Волхонским, пролепетала несколько успокоительных фраз, подержала совет с докторами, которых неоднократно обозвала «коллегами», исследовала больную, — а затем развела руками и стала дожидаться «кризиса».

На четвертый день московская знаменитость прислала телеграмму, в которой заявляла, что меньше чем за тысячу рублей она выехать из Москвы не может...

Московской знаменитости не успели ответить. На четвертый же день, ночью, Мишеля разбудили, и он, с ног до головы охваченный ужасом, бледный, дрожащий, сквозь глухие

рыдания написал матери телеграмму. Но спустя минуту разорвал ее и с жестокой иронией изобразил другую. В ней значилось:

«Курсы повысились: сегодня в ночь умерла кузина. Поздравляю. Граф Облепищев».

Спустя две недели из Волхонки тащилась тележка, запряженная парой серых лошадок. В тележке сидел Илья Петрович Тутолмин. На облучке лепился Мокей. Солнце палило нестерпимо. Мелкая пыль вилась за колесами. Неугомонные слепни кружились над лошадьми и беспрестанно присасывались к ним. Мокей сидел полуоборотясь к Тутолмину. Он вяло помахивал кнутиком и подергивал веревочными вожжами.

Илья Петрович сильно изменился. Лицо его потускнело и осунулось. Глаза были печальны. Он сгорбился точно старик и рассеянно смотрел, как пристыжная лениво перебирала косматыми ногами и вздрагивала, когда слепень впивался в нее своим жалом.

— Ну, Петрович, простись теперь с Волхонкой! — произнес Мокей, когда тележка вползла на возвышенность.

Тутолмин медленно оглянулся. В долине живописно раскидывалась усадьба. Озеро блестело, как ярко отполированная медь. Бурый камыш неподвижно отражался в воде.

Барский дом возвышался тяжелой громадиной. За домом огромным островом вставал и зеленелся сад. Водяная мельница меланхолически грохотала. Сельская церковь стройно белелась, сияя крестами. Дальше тянулось поле, усеянное копнами, и пустынное жниво; за жнивом трепетало обманчивое марево и смутно вставали деревни. Там и сям виднелись кусты... В высоком небе гордо кружился ястреб.

И вдруг Илья Петрович почувствовал, как что-то щипнуло его за сердце и тоскливо сдавило грудь. Он украдкой смахнул слезу, одиноко скатившуюся с ресницы, подавил тяжелый вздох и с решительностью отвернулся.

И долго они ехали в молчании. Возвышенность давно уже миновала. Крест волхонской церкви едва сиял за ними. Кругом расходились безмолвные поля; порою возы с снопами тянулись им навстречу медлительно и тяжко. Иногда в стороне пестрело стадо. Где-то в отдалении протянули журавли... Колеса однообразно гремели, и лошаденки трусили ленивой рысцою.

Наконец они пошли шагом. Мокей заку-

рил трубочку и окончательно оборотился к Илье Петровичу.

— Что ж, приедешь к нам на лето? — спросил он.

— Вряд ли, — с унынием отозвался Тутолмин.

— О? А то приезжал бы. У нас, брат, хорошо.

Тутолмин ничего не ответил. Тогда Мокей усиленно пососпел трубочкой, выколотил из нее пепел и снова задергал вожжонками. «Эй, вы, уморительные!» — закричал он пискливым голосом. Илья Петрович усмехнулся. «Ведь, ишь он, как его... ишь как выдумал!» — подумал он с удовольствием и, вынув из мешка памятную книжку, записал Мокеево восклицание. Потом в задумчивости стал перелистывать книжку... Немного в ней было утешительного. Общинный уклад расползлся. Всевозможные устои подтачивались неотступно. Новые взгляды нарождались с стремительной неукоснительностью. Старина, видимо, издыхала... И грустно ему сделалось.

Вдруг Мокей с живостью обратился к нему.

— А я ведь еще песню подслушал, — про-

молвил он, улыбаясь.

— Какую?

— Да уж песня! Всем песням песня. Девки от табашника переняли.

— Ну, говори, говори.

— Говорить-то говорить... — Мокей почесал за ухом. — Только ты уж, Петрович, без обиды... Больно хороша песня!

Тутолмин в изумлении посмотрел на него.

— А я разве тебя обижал? — спросил он.

— Ну, как можно обижать, — с предупредительностью возразил Мокей и добавил вкрадчиво: — А все-таки маловато.

— Да чего маловато-то?

— А насчет песен... Это ты уж как хочешь, а оно, брат, тово... Тоже ее запомни всякую... Ее, брат, тоже не всякий запомнит.

— Ну, сколько же тебе?

— Да что уж... Все бы, глядишь, четвертак надо... — И он нерешительно взглянул на Тутолмина.

— Ну, ладно, — сердито сказал Илья Петрович, — говори, что там за песня. — Он раскрыл свою книжку.

Мокей крякнул и плутовато улыбнулся.

— Пиши, — вымолвил он, — пиши...

*Купил Шаша две бутылки,
Одна — пиво, другой — ром,
Давай с тобой разопьем,
Бутылочки разобьем...
Э-их, будем пить и кутить —
Нам немножко с тобой жить.
Тебя, миленок, женить...*

— Да ты чего ж не пишешь? — вдруг спросил он.

Но Тутолмин в негодовании захлопнул книжку и плюнул.

— Черти вы! — решительно воскликнул он. — Мало вас, чертей, дурачат!.. Я тебе не только четвертак — пятака не дам за такую песню!

— О? Ай не хороша? — в наивном удивлении вымолвил Мокей и тотчас же прибавил в примирительном тоне: — А не хороша — и шуты с ней!.. Эй вы, размилашки! — И он весело замахал на лошадей.

А Илья Петрович долго не мог успокоиться. Он и прежде выслушивал подобные песни в страшной досаде, эта же «песня песней» как-то особенно взволновала его. «Ведь пере-

няли же эдакую гадость, — восклицал он, — а старые песни не перенимают... Так и вымирают старые песни, и гложут бесследно...» И он погрузился в прискорбные размышления.

Мокей тоже думал, но о чем, неизвестно, и только после долгого перерыва он мотнул головою и опять обратился к Илье Петровичу.

— А что, Петрович, барышня эта, покойница... как ты полагаешь? — он вопросительно посмотрел на Тутолмина.

— Что полагать-то? — с неохотой ответил тот.

— Помнишь, ты приходил-то с ней.

— Ну?

Мокей решительно тряхнул волосами.

— Я так полагаю — она из блаженных, — произнес он и ловко стегнул коренника под седелку.

— Как это из блаженных? — угрюмо осведомился Илья Петрович.

— А из блаженных. Вот блаженные бывают, которые...

Тутолмин хотел было что-то ответить, но посмотрел вдаль и вскрикнул в тревоге. Кудрявая полоска сизого дыма тянулась по гори-

зонту, быстро приближаясь к далекому вокзалу. И до того ужасным показалось Тутолмину опоздать на этот поезд и снова возвратиться в Волхонку, что он даже в лице изменился. «Гони, Мокей!» — закричал он. Мокей поплевал на руки, поправил картуз и вдруг возопил благим матом. Лошаденки рванулись в испуге, колеса неистово загремели, седая пыль за клубилась и затолкалась мутным столбом... «Гони!» — кричал Илья Петрович, не отрывая глаз от поезда, победоносно подходившего к вокзалу. Тележка подпрыгивала, пыль летела ему в лицо и в рот, Мокеев кнут жгучей полоской проскользнул по его носу, а он ничего не примечал и, крепко ухватившись за края тележки, взывал отчаянным голосом: — Гони, гони, Мокей!..

Примечания

1

быть одетым с иголочки (*франц.*).

[^^^]

2

Одно вместо другого (*лат.*) путаница.

[^^^]

3

бог из машины (*лат.*) — непредвиденная развязка.

[^^^]

4

жалкий, презренный (*франц.*).

[^^^]

5

приписка к письму (лат.).

[^^^]

сброд (*франц.*).

[^^^]

7

после нас хоть потом (*франц.*).

[^^^]

8

Известный еще в XVIII в. способ приготовления блюда из птицы (*франц.*).

[^^^]

Устаревший тип мебели (*франц.*).

[^^^]

10

положение обязывает (*франц.*).

[^^^]

мое дитя (*франц.*).

[^^^]

Музыкальная помета: оживленно, но не слишком (*итал.*).

[^^^]

Музыкальное произведение или его часть, исполняемые в медленном темпе (*итал.*).

[^^^]

чтобы провести время (*франц.*).

[^^^]

равенство (*франц.*).

[^^^]

«Доброй ночи! Доброй ночи!» (нем.).

[^^^]

право на существование (*франц.*).

[^^^]

свидания (*франц.*).

[^^^]

увеселительные прогулки (*франц.*).

[^^^]

непринужденная беседа (*франц.*).

[^^^]

Гражданами (*франц.*).

[^^^]

Манера говорить (*франц.*).

[^^^]

рассуждение (*франц.*).

[^^^]

революция (*франц.*).

[^^^]

манто, накидка, надеваемые на вечернее платье (*франц.*).

[^^^]

Местное наименование филина. (Прим. автора. — *Ред.*).

[^^^]